

Р О М А Н  Г О Л О В О Л О М К А

Умный и действительно
страшный роман с ритмом
и динамикой сериала «24 часа».
Настоящая головоломка.

The Times

МИР, КОТОРЫЙ СТИНУЛ

Ник Харкуэй

Роман-головоломка

Ник Харкуэй

Мир, который сгинул

«АСТ»

2008

УДК 821.111
ББК 84(4 Вел)

Харкуэй Н.

Мир, который сгинул / Н. Харкуэй — «АСТ»,
2008 — (Роман-головоломка)

ISBN 978-5-17-099093-1

Гонзо Любич и его лучший друг неразлучны с рождения. Они вместе выросли, вместе изучали кун-фу, вместе учились, а потом отправились на войну, которая привела к концу света, самому страшному и необычному апокалипсису, который не ожидал никто. Теперь, когда мир лежит в руинах, а над пустошами клубятся странные черные облака, из которых могут появиться настоящие монстры, цивилизованная и упорядоченная жизнь теплится лишь вокруг Джоргмундской Трубы. И именно ее отправляются чинить друзья вместе со своим отрядом. Но они быстро понимают, что это задание гораздо опаснее, чем казалось на первый взгляд, и вскоре попадают в невероятную переделку, которая приведет их в самое сердце компании, владеющей Трубой, а также к истокам войны, ввергнувшей мир в хаос. Правда, это всего лишь завязка, на самом деле все еще сложнее...

УДК 821.111
ББК 84(4 Вел)

ISBN 978-5-17-099093-1

© Харкуэй Н., 2008
© АСТ, 2008

Содержание

Глава I	7
Глава II	21
Глава III	52
Глава IV	72
Конец ознакомительного фрагмента.	74

Ник Харкуэй

Мир, который сгинул

Nick Harkaway

THE GONE-AWAY WORLD

This edition is published by arrangement with Conville&Walsh Ltd. and Synopsis Literary Agency

Copyright © Nick Harkaway, 2008.

© Екатерина Романова, перевод, 2017

© Михаил Емельянов, иллюстрация, 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2017

Умный и действительно страшный роман с ритмом и динамикой сериала «24 часа». Настоящая головоломка.

The Times

Величественная, массивная, эпическая книга, легко способная стать современной классикой. Своим мрачным юмором она напоминает Курта Воннегута, а энергией – «Поправку-22». В некоторых же главах явно видны призраки Дугласа Адамса и П.Г. Вудхауза. Добавьте сюда извилистый сюжет, незабываемый финал и интригующую развязку, дающую немало пищи для размышлений, и вы получите роман, который надолго останется у вас в памяти.

Independent

«Поправка-22» для XXI века.

Книга поразительного воображения и убедительности.

Гениально.

The New York Observer

Головокружительно масштабный и смелый роман, написанный со столь буйным воображением, что захватывает дух от одной его изобретательности.

Observer

«Мир, который сгинул» – это подлинно панорамное, трехмерное чудо с эффектом полного погружения, и ты просто не хочешь, чтобы оно заканчивалось.

SF Revu

Посвящается моим родителям.

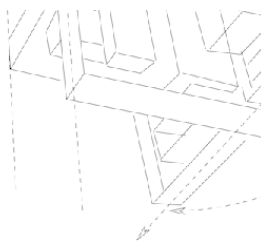
Вы знаете, кто вы

Те, кто грезит днем, – опасные люди, ибо они способны претворить свои грезы в жизнь. Именно это я и сделал.

Т. Э. Лоуренс

Глава I

Когда все началось; свиньи и кризис; тесное общение с руководством



Свет погас в «Безымянном баре» сразу после девяти. Согнувшись над бильярдным столом, я опустил руку на протертый полукруг – от пивной кружки, как утверждал бармен Флинн, вот только размером и формой он в точности повторял седалище его жены: разрезанное пополам яблоко шириной в добрый ярд.

Флуоресцентная лампа над столом моргнула, погасла и опять включилась; холодильник со стеклянной дверцей тихо, неуверенно заурчал. Загудела проводка – и тут же наступила темнота, только на телевизоре танцевал слабый отсвет помех да нервно мерцала зеленая лампочка у выхода.

Я перенес центр тяжести на отпечаток задницы миссис Флинн и все-таки ударил по битку. Белый шар прошелестел по сукну, оттолкнулся от двух бортов и аккуратно забил восьмерку в боковую лузу. *Дуфф, дуфф, чк... бух.* Безупречно. Но метил-то я в шестерку – выходит, я продул Джиму Хепсобе. Как только электричество включат и все в «Безымянном баре» вернется на круги своя, я отдам кий лучшему другу, герою Гонзо, чтобы Джим расправился и с ним.

Как только, так сразу.

Но свет не дали. Тускло мерцавший телевизор окончательно потух. Наступил короткий миг тишины – из тех, что и заметить-то едва успеваешь, а грустно почему-то становится. Затем Флинн вышел, бранясь как черт-те кто и даже хуже, – если этот Черт-те Кто однажды встретится с Флинном, и между ними случится разборка (решающий бой в духе вестернов, с отборной руганью), я точно знаю, на кого ставить деньги.

Флинн врубил генератор, приводимый в действие, упаси господи, свиньями. Четырех мощных вонючих зверей начали впрягать в ворот, от чего поднялся дикий шум, как от кавалерии в бою, и Флинн обрушил часть грязной ругани на ближайшего хряка. Тот скорчил брезгливую морду, точно его вот-вот вырвет, и кинулся было наутек. Остальные вынужденно последовали за ним, медленно, но верно двинувшись вокруг ворота; вскоре к ним присоединился неудавшийся беглец. Увидев, что Флинн готовит новую порцию ругательств, он попробовал остановиться, однако не смог, поскольку был привязан к крестовине и трем своим собратьям. Тогда он рванул мимо Флинна на предельной скорости, какую только может развить свинья. Ворот завращался быстрее, и под скрежет, смрад и хрюканье генератор наконец заработал. Экран телевизора вспыхнул и принес дурные вести.

Хотя нет, не вспыхнул. Картинка была размытая, словно кинескоп неисправен. Горели огни, раздавались крики – сначала тихие, потом все более отчетливые (Салли Калпеппер прибавляла громкость). Изображение дергалось и дрожало, мимо камеры бегали всполошенные люди и орали «назад», «уходим» и «очерттвоюмать» – возгласы вроде последнего никто не потрудились заменить гудком. На среднем плане кто-то корчился на земле. В мире творилось нечто чудовищное и немыслимое, а какой-то подлец с камерой решил заработать

лишние десять штук за риск, вместо того чтобы закатать свои подлые рукава и спасти пару жизней. Знал я на Сгинь-Войне одного журналиста, который именно так и сделал: бросил дорожную казенную «Диджи VII» в сточную канаву и вытащил шестерых штатских и одного сержанта из горящего санитарного грузовика. Вернувшись домой, он получил медаль за доблесть и письмо об увольнении от босса. Сейчас он в желтом доме, зовут его Михей Монро. Каждый день к нему приходят двое из больницы для ветеранов, выводят его на прогулку и следят, чтобы медаль на прикроватной тумбочке всегда блестела. Двух чудаков зовут Гарри и Хойл, и у них есть свои медали, но это меньшее, что они могут сделать для человека, который ради них лишился рассудка. В санитарном грузовике был сын Гарри, понимаете? Его и еще кое-кого Михей вытащить не смог.

Мы устали в телевизор и попытались разобраться, что там происходит. На миг нам почудилось, будто горит Джоргмундская Труба – но это все равно, что небо упало бы на землю. Труба – трижды укрепленное, самое надежное, безопасное и насущно необходимое сооружение на свете. Мы сколотили ее впопыхах, но потом сделали неразрушимой. Чертежи разработали лучшие специалисты, их проверили и перепроверили лучшие испытатели, после чего и самих испытателей подвергли скрупулезным осмотрам и допросам на предмет склонности к диверсиям, самопожертвованию или случаев серьезной, по сей день не выявленной банальной тупости. Затем за работу принялись подрядчики – по схеме, в которой все внимание уделялось не скорости, а тщательности и строгому соблюдению правил и которая налагала на спекулянтов и барышников столь суровые взыскания, что проще было сразу удавиться, чем рискнуть. Потом, вооружившись молотками, пилами, генераторами грозовых импульсов и торсионными двигателями, над Трубой стали корпеть инспекторы и эксперты в области катастроф. Наконец ее объявили надежной. Все обитатели Жилой зоны объединились в общем стремлении беречь и охранять Трубу. Вероятность пожара невозможно было допустить даже гипотетически.

Однако Труба горела, и горела *вовсю* – нездоровым белым пламенем, трупно-бледным, магниевым, омерзительным, а за пожаром виднелись здания и заборы. Выходит, горела не просто Труба, а какая-то важная насосная станция или очистительный завод. Все заволкло горячим сияющим дымом, а в самом сердце печи творилось такое, что был не в силах воспринять человеческий ум, немыслимое и скверное, причем с собственным музыкальным сопровождением. На экране нечто очень важное распадалось на шум и свет.

– Вот ДЕРЬМО! – проговорил за всех Гонзо Любич.

Удивительно: мы (уже не впервые) смотрели на конец света, кошмарное зрелище, и одновременно видели на экране славу, почести, деньги и иные приятные вещи, полученные в награду от благодарных граждан. То есть мы видели смысл своего существования. Потому что «эт-то п-по т-телику» было пожаром и худшей техногенной катастрофой, какую можно вообразить, а мы, леди и джентльмены, возьмемся же за руки, – сотрудники «Частного гражданского аварийно-транспортного агентства по спасению мира» (штаб-квартира – «Безымянный бар», председатель и генеральный директор Салли Д. Калпеппер), и именно такие проблемы мы решаем лучше всех в Жилой зоне, а стало быть, лучше всех на свете.

Салли тут же заговорила с Джимом Хепсбой, а потом и с Гонзо, составляя списки и раздавая поручения. Она велела Флинну варить фирменный, проедающий сталь эспрессо, и в конце концов даже миссис Флинн встала с бильярдного стола и помчалась собирать снедь и отправлять письма любимым и забытым, а также всем, на кого сквозь пепел, парящий в воздухе «Безымянного бара», украдкой бросала восхищенные взгляды. Мы же бегали туда-сюда, врезаясь друг в друга и ругаясь, потому что никаких важных поручений у нас не было. В баре стоял гомон и хохот, пока Салли не вскочила на бильярдный стол и не велела всем заткнуться. Словно бедренную кость какого-нибудь святого, она воздела над нашими головами мобильный телефон.

Самой примечательной частью тела высоченной Салли Калпеппер были ноги, а на правой лопатке у нее красовалась орхидея, наколотая одним талантливым парнишкой – еще немного и Микеланджело. У нее были клубничные губы, сливочная кожа и веснушки на носу (в месте перелома, заработанного в лиссабонском баре). Гонзо утверждает, что спал с ней, и эти ноги обвивали его бедра, точно удавы, покрытые итальянской телячьей кожей. Говорит, когда Салли ушла, он был почти труп, но улыбался во весь рот. Говорит, это случилось после одного крупного дела, когда пиво чуть не с потолка текло, а от радости и мыла лица у всех светились, точно яичные желтки. Говорит, это было еще до того, как Джим и Салли перестали бороться с неизбежным и начали жить вместе. Всякий раз, когда мы встречались – я, Гонзо, Салли, Джим и другие, – Гонзо хитро улыбался ей и спрашивал, как поживает *вторая* татуировка, а Салли тоже заговорщицки улыбалась: мол, все равно я вам не скажу, видел ли он эту наколку. Джим Хепсоба делал вид, будто не слышит: он любил Гонзо братской любовью, а такая любовь предполагает, что тебе плевать, осел твой приятель или нет.

Мы все души не чаяли в Салли Калпеппер; своими прозрачными ресницами, румяным личиком доярки и точеными руками, которые при случае били, как паровой молот, она делала с нами что хотела.

Итак, Салли залезла на стол, и в баре установилось факсимиле спокойствия и сосредоточенности, поскольку звонок мог поступить только по одному телефону. Прием здесь был отличный – отчасти поэтому «Безымянный бар» и стал нашей штаб-квартирой.

Словом, мы бросили искать потерянные носки и дорожные сумки, прекратили волноваться, что пропустим сигнал к началу марафона, и полностью доверили сбор снеди миссис Флинн. Вскоре начались тихие разговоры о домашних обязанностях: кому чистить водосточные желоба, а кому прогонять с чердака летучих мышей. Когда зазвонит телефон (это случится в любой миг), мы пойдем и спасем мир – любимое занятие Гонзо, ну и мое, в силу сложившихся обстоятельств. А до тех пор можно не суетиться.

Потом в «Безымянном баре» опять воцарилась тишина; маленькими группками или по одному все умолкли, воззрившись на предзнаменование страшной участи.

Предзнаменование приняло обличье маленького ребенка, который держал в руках потрепанного мишку в засохших соплях. Дитя авторитетной поступью вошло в зал, окинуло нас строгим взглядом и обратилось к миссис Флинн за подробностями судебного разбирательства.

– Почему было темно? – спросило оно.

– Электричество отключили, – весело ответила миссис Флинн. – Пожар!

Ребенок еще раз сердито оглядел комнату и с досадой произнес:

– Очень шумно! А этот дядя грязный. – Он показал пальцем на Гонзо (тот поморщился) и перевел взгляд на Салли Калпеппер. – У тети на спине цветочек.

Видимо, это открытие позволило ребенку заключить, что мы ни на что не годимся. Он уселся посреди пола, подобрал с него кусочек сыра и рулет из бекона. Мы по-прежнему взирали на страшное видение и терли глаза кулаками, надеясь, что оно исчезнет.

– Извините, – обратилась миссис Флинн ко всем нам, – обычно мы его не пускаем, однако сегодня случай непредвиденный. – Она сердито посмотрела на ребенка. – Милый, нельзя это кушать, оно лежало на полу рядом с грязным дядей.

Гонзо нашел бы что возразить, но, видимо, попросту ее не услышал. Как все остальные в баре, он в немом ужасе глазел на ребенка. То было бесспорно человеческое дитя, и выводы напрашивались весьма неприятные, даже пугающие. Ребенок, завернутый в банное полотенце и сующий в ухо четырехдюймовую булочку из цельного зерна, был Отродьем Флинна.

Разумеется, пожар на Джоргмундской Трубе – серьезный повод для беспокойства. Впереди нас ждали новые опасности и новые возможности, почти наверняка обманы, тайные интриги и прочее в том же духе. Это вполне укладывалось в нашу картину мира. Что-то

горело, взрывалось, а потом приходили мы и все исправляли. Однако плодящиеся Флинны – другое дело. Флинн был нашим личным чудищем, безобидным, но страшным огром, вооруженным едкой бранью и зловещими очками. Он был наш, он был велик и могуч, и мы рядом с ним тоже были велики и могучи, а свою чрезмерную мужественность он доказывал бесстрашными половыми актами с необъятной миссис Флинн, – но нам вовсе не хотелось, чтобы мир целиком состоял из плотных рядов флинноподобных созданий: грязно ругающихся, ворчливых и не желающих принимать долговые расписки. Такое устройство мира даже храбрейшие из нас сочли бы неблагоприятным, а ведь его предвестие, Отродье Флиннов, уже сейчас роняло комочки сыра на Гонзов ботинок. Миссис Флинн спокойно закончила домашние дела, которыми занималась одновременно со складыванием сменной одежды, и вышла. Отродье Флиннов беспечно пропустило мимо ушей материнский наказ и куснуло грязный рулет.

– Хрустящий!

Чирикнул телефон Салли Калпеппер, и мы нарочно отвели глаза.

– Калпеппер, – пробормотала она в трубку и через секунду хлопнула крышкой. – Ошиблись номером.

Мы соорудили безразличные мины.

Какое-то время «Безымянный бар» наполнился лишь детским чавканьем и суровым молчанием бывалых героев, которым приходили на ум тревожные и непривычные мысли о времени, смерти и семье. Потом безмолвие нарушил... нет, не звонок, но звук столь низкий, что и звуком-то не назовешь.

Поначалу он заявил о себе агрессивной тишиной. Вокруг по-прежнему свистела и рычала пустыня, однако все перекрыла низкая, басовая тишина. Потом в коленях и лодыжках возник холодок, зыбкая предынфарктная слабость и вибрация. Чуть позже раздалось дробное *дык-дык-дык*, которое эхом отдавалось в легких и намекало, что сегодня вы станете чьим-то ужином. Если вам когда-нибудь доводилось слышать этот звук, вы бы сразу поняли, откуда он, и мы тоже поняли, поскольку впервые издавали его вместе: шум солдат. Кто-то подтягивал к «Безымянному бару» подчеркнута солидную армию, и это означало, что с безопасностью они не шутят. Поскольку солдаты вряд ли шли нас арестовывать (а если и так, поделаться мы ничего не могли), все вывалились через большую сосновую дверь бара на улицу и стали наблюдать за их приближением.

На улице было холодно и сухо. Наступила ночь, колдовская темнота; пески уже отдали все тепло, так что прохладный ветер обдувал деревянную крышу бара, служебные постройки, утрюмые лачуги и дома, обшитые деревом, из которых состоял забытый всеми городишко Эксмур, население 1309 человек. У подножия Миллгрэмского холма пролежала наша секция Трубы; свет из окна спальни и огороженного загона выхватывал из мрака единственную серую полосу. Чуть дальше вторая такая же полоска появлялась, когда в одиноком соседском домишке включали свет. Труба шла в обоих направлениях; где-то на другом конце земли две полосы соединялись, и место это наверняка было полной противоположностью Эксмюра, то есть солнечным и жизнерадостным. По всей длине Трубы с промежутком в несколько ярдов торчали краники, из которых поднимался в небо первоклассный чистейший ФОКС, волшебное зелье, поддерживающее в более-менее одинаковом виде ту часть мира, которая еще принадлежала нам. Никто толком не знал, откуда он берется и как делается; многие считали, что его конденсирует из воздуха и лунного света какая-то огромная машина вроде яйца с проводами и лампочками. Подобных машин тысячи, они уязвимы и жизненно необходимы, так пусть же они работают вечно.

Как-то раз мне довелось увидеть часть этого оборудования: длинные черные ромбы со скругленными боками, сплошь утыканные трубками и кранами. Жуткое зрелище. Не яйца, а

скорее космические капсулы или батискафы, предназначенные не для странствий по враждебным средам, а ровно наоборот: они делают среду вокруг нас менее враждебной.

Народ как мог старался не замечать Трубу. Выдумывал для нее эвфемизмы, как для рака, импотенции и дьявола, местами раскрашивал в яркие цвета и даже растил на ней цветы. Только в ничтожных городишках-прилипаниях вроде Эксмур можно было лицезреть Трубу в первозданном виде – ржавый презренный хребет нашего существования, несущий безопасность, надежность и иллюзию постоянства во все уголки и закоулки Жилой зоны.

На самом деле, то была не петля, а скорее затейливое птичье гнездо. Кое-где Труба разворачивалась на сто восемьдесят градусов или начинала виться спиралью, трубки поменьше вели к приграничным городишкам, а местами Жилая зона лънула к ней, точно матрона, подбравшая юбки, чтобы перейти ручей; где-то из-за погоды и географических особенностей внешний мир подступал к нашему на опасно близкое расстояние. Однако в целом Труба действительно напоминала петлю, накинутую на Землю. Благодаря ей нам было где строить дома. Отойдите от Трубы (в Хавиланде, где находится главный офис «Джоргмунда», ее окрестили Старой ДТ, но были и другие прозвища: Большая Змея, Серебрянка) миль на двадцать, и вы попадете в мрачную необитаемую местность между Жилой зоной и безумным кошмаром нереального мира. Порой там безопасно, порой не очень. Мы называли эти места Границей и несколько раз проходили через них, если требовалось попасть куда-то в разумно короткий срок и огибать три стороны квадрата было некогда. Как-никак нас было много, мы шли быстро, налегке и все время следили за погодой. Если менялся ветер или падало давление, если на горизонте появлялись диковинные тучи, если нам встречались странные люди или животные, мы тут же поджимали хвосты и припускали обратно к Трубе. Жители Границы не всегда остаются людьми. Мы носили с собой канистры с ФОКСом и надеялись, что он нас спасет.

Ходили слухи, будто недавно люди (или почти-люди) из-за Границы, из зыбких мест, где творятся скверные дела, разграбили и сожгли несколько пограничных городков. Прихвостни Компании начали чуть внимательнее патрулировать земли и задавать чуть больше вопросов, а простой народ стал жаться к Трубе, где было безопасней. Шаг в сторону – и, возможно, ты не вернешься, а если и вернешься, то не будешь прежним. Звучит странно и ужасно, пока не осознаешь, что, по большому счету, так было всегда, а боишься ты лишь потому, что никогда не покидал своего уютного мирка и не оказывался там, где знакомого и понятного исчезающе мало.

Рев конвоя теперь раздавался совсем близко, а большие пятна света со штабного автомобиля метались туда-сюда, высвечивая то нас, то песок и гравий. Пустыни в программах о дикой природе – это благородные бескрайние просторы; всюду фотогеничные муравьи и чудные пауки, покой и чистота, потому что при таком увеличении комы грязи похожи на валуны. Наша же пустыня была самой настоящей свалкой. Ветер с запада приносил запах раскаленного металла, дизельного топлива и готовых ринуться в бой солдат. С востока долетала характерная вонь взмыленных свиней. Никому бы не пришло в голову сохранить эти ароматы в красивом пузырьке с цветочком и продавать, наняв для рекламы высокооплачиваемую, стратегически недораздетую супермодель. То были настоящие запахи, живые, примитивные и странным образом успокаивающие – в ночь, когда загорелся мир.

Итак, мы столпились в темноте, подальше от телевизора, Отродья Флиннов и бильярдного стола. Разом вдохнув, мы улыбнулись друг другу и почувствовали удивительное единение. Джим Хепсоба взял за руку Салли Калпешпер, и мы сделали вид, что ничего не заметили. Энни Бык шепнула что-то Игону Шлендеру; Сэмюэль П. выругался и забормотал; Тобмори Трент ничего не сделал, он стоял молча и неподвижно, как могильный камень. Я замечтался о собственном рае – маленьком, тихом, с единственным ангелом, который не умеет петь.

Закройте глаза и представьте на склоне горы дом из камня и дерева. Воздух чист, прохладен и пахнет снегом; откуда-то доносится шум – трудятся настоящие люди, и из-под их рук выходят полезные или съедобные вещи. В дверях стоит женщина в голубых джинсах, белой рубашке и ковбойских сапогах, глаза у нее цвета озерной воды. Это моя жена, она красива, как и все, что ее окружает. Она – мое сердце и то единственное, чего нет у Гонзо Любича.

Солдаты с ревом приближались – многочисленные, шумные и совсем юные, а мы, как могли, пытались сдержать смех, потому что хихикать над вооруженным до зубов взводом не стоит даже при самых благоприятных обстоятельствах, а уж тем более теперь, когда такое творится, и вид у солдат нервный. В общем, мы сделали очень серьезные и почтительные лица, мысленно спрашивая себя, что, черт подери, происходит. Тут танк, шедший во главе колонны, замер на парковке (заняв чужое место), люк открылся, и вместо седеющего верзилы с фирменной ухмылочкой оттуда вылез тонкошей, прилизанный напедикюренный подонок, от которого за милю несло одеколоном «Прыгай в койку» и кожаным портфелем ручной работы.

– Здрасьте, – сказал тонкошей и добавил (будучи не только чиновником, но и остолопом): – Сделайте милость, помогите мне выбраться! Я застрял в амбразуре! – Рассмеялся.

Если за вами присылают конвой, стало быть, вы кому-то срочно понадобились, что само по себе неплохо. Но если за вами присылают личного тонкошея, имейте в виду: без афер, жульничества и лживых обещаний не обойтись. Можете забыть все, на что рассчитывали. Вам будут нагло врать, зато пришлют своего человека – дабы подчеркнуть прозрачность намерений.

Салли Калпеппер побагровела, и Джим Хепсоба отпустил ее руку: она должна производить впечатление генерального директора и важного игрока, а не девчушки из Дарзета, с завидным терпением дожидаящейся предложения от любящего увальня-жениха.

Тонкошей медленно поднялся из танка во мрак, будто злодей из старого шпионского фильма, передвигающийся на собственном лифте. Когда его голени поравнялись с краем люка (а не «амбразуры»), мы увидели чьи-то руки, потом предплечья толщиной с Джимовы, а затем и уродливое лицо Бона Брискетта – без седеющего верзилы все-таки не обошлось. Он молча поставил тонкошея на землю перед танком, намекая, что сам никакого проку от него не видит и раздавит его по первому нашему слову. Потом мы бы соврали, что произошел несчастный случай, а между нами и миссией стало бы на одного бюрократа меньше.

Джоргмундская компания охватывала весь мир и была стара, мудра и осмотрительна. Она образовалась из ряда других компаний, существовавших еще до Сгинь-Войны, а значит, сама себя обслуживала и защищала. Конечно, у нас были мэры, города-государства и все такое прочее, из чего складывалась мозаика власти, называемая Системой. По идее, она отвечала за законы и армию, то есть за людей вроде Бона, которые патрулировали границы Жилой зоны, ловили бандитов и отгоняли кое-кого похуже. Однако балом правила Компания, ведь она владела – точнее, сама была – Трубой, а без Трубы мы бы не выжили. Закольцованная змея (логотип Компании) красовалась везде, где только можно. Ну или на всем, что имело мало-мальское значение.

Словом, были мы, и был этот тонкошей, а над ним, ясное дело, стоял начальник. Человек без начальника ни за что не приедет в Эксмур, пусть хоть небо на землю валится. Но в интересах руководства, ради повышения по службе и прочих благ тонкошей явился нас надуть.

Он осторожно ступил на землю, словно боялся, что она его проглотит. Пока он шагал к нам, песок попадал ему в туфли, забивался под шелковые носки, и, когда тонкошей все-таки подошел и протянул руку Джиму Хепсобе, а пожала ее Салли Калпеппер (на лице у нее

при этом было написано: «Один ноль в нашу пользу»), человек из Хавиланда выглядел так, будто его по колени окунули в отбеливатель или известку.

– Дик Вошберн, – представился тонкошей, и все мы чуть не прыснули, а Сэмюэль П. подался вперед, перегнувшись через собственное брюхо, и протянул ему руку со словами: «Как, простите, Диковошь?», чем несколько не смутил нашего тонкошея. Тот громко и внятно повторил имя и должность: Ричард Вошберн, второй вице-президент и заведующий чем-то там. Он пробуравил Сэмюэля недвусмысленным взглядом (мол, шутку я понял, но смеяться над ней не стану), от чего сразу вырос в наших глазах. Хоть и тонкошей, а с характером! Если уж Дик Вошберн сумел проявить норов здесь, то не исключено, что дома он альфа-самец, из тех, на кого настоящие доминантные самцы поглядывают с опаской – как бы кабинет не отнял. Впрочем, наверняка уже отнял, и вот он перед нами, ключевой игрок и фигура в любом последующем разбирательстве из серии «Народ против Компании». Принца, который слишком вознесся, проще всего уничтожить непомерными возможностями.

Мы вернулись в бар, а солдаты начали старательно его оцеплять – признаться, выходило у них отлично, хотя выглядели они подавленно, потому что занимали оборонительные позиции вокруг здания, склеенного из картона и соплей, которое стояло на самом краю цивилизованного мира, было набито странными личностями вроде нас и разлетелось бы в клочья от единственного выстрела из пулемета, установленного на бронетранспортере. Нервы нам пощекотало, когда на дисплее локатора появились четыре крупных пятна и по дуге приблизились к задней части «Безымянного бара». В ту же секунду ожили два грозных орудия: *вууууууКЛАЦадзыинн!* «Сэр, цель обнаружена, сэр!», затем: «Боец, откроешь огонь из этой пушки, и я засуну ее тебе...» и *габоозззз* – пришли в движение башни. Под обстрел явно попали бы гостиная и бар Флиннов, но врагом оказался, разумеется, пустынный генератор, приводимый в действие хрюшками, которые в настоящий момент старательно вырабатывали электричество для кухни и телевизора. Несколько секунд они повисели на волоске от эффектной смерти, после чего их сочли безобидными, и орудия с характерным *дзагзаг-ишррмм* вернулись на исходные позиции. Бон Брискетт (полковник Брискетт) передал полномочия своему помощнику, костлявому малому (тот явно был опаснее всех остальных солдат вместе взятых), прошел за нами в бар и закрыл дверь.

Дик Вошберн встал посреди зала, и мы посмотрели на него. Он попытался ответить тем же, но безуспешно: мы обступили его со всех сторон. Тогда он поглядел на Бона Брискетта, однако тот взирал на ужасную реальность в лице Отродья Флиннов – очевидно, на полковника тоже снизошло некое страшное откровение. Тонкошей покосился на Салли, но та мстила ему за рукопожатие и, как все остальные, молча ждала. Словом, наш красавчик в угробленных ботинках ценой в небольшой дом стоял посреди бара и тщетно пытался выглядеть авторитетно, пока брутально-романтично-сексапильный аромат его лосьона после бритья смешивался с затхлой вонью пива, невымытых дальнобойщиков, сырных рулетов и свиней.

Рассмотрим этого человека, самого легкозаменимого сына Джоргмундской компании. На нем второй его лучший костюм (или третий, или десятый, как знать, но он нипочем не надел бы в танк пошитую на заказ у Ройса Аллена тройку, какое бы повышение ему ни светило), а от «ботокса» и лосьонов лицо у него гладкое, как яичко. Не прибегая к генной инженерии и психологическому воздействию, Джоргмундская компания без лишних затрат его переделала, поселила в неплохом *ville d'ortoir*¹ и с помощью ускоренных менеджерских курсов и карт постоянного клиента лишила всяких связей с настоящим миром, окружила псевдопространствами, торговыми центрами и фонтанами, так что теперь у него аллергия на пыльцу, выхлопные газы, пыль, шерсть животных, соль, клейковину, пчелиный яд, красное вино, спермицидные смазки, арахис, солнечный свет, нефilterованную воду и шоко-

¹ Спальный район (фр.).

лад – словом, на все, чего нет в его стерильной кондиционированной среде. Дик Вошберн (отныне и навсегда – Диковошь) – тонкошей типа Д: нахальный тип, метящий в казначеи, с рудиментарной человечностью. Последнее делает его куда менее опасным, чем тонкошей типа Б (бессердечная бюрократическая машина, превосходный теннисист), и чуть менее опасным, чем тонкошей типа В (смешливый лизоблюд дегуманизирующего склада, матерый гольфист). Бесспорно, Диковошь гораздо опаснее тонкошеев типа Е-М (настоящие люди, пытающиеся убежать от собственного профессионального «я»; разная степень безысходности). Никто из моих знакомых не встречался с тонкошеем типа А (покойники ведь не могут рассказать об аварии, в которой погибли) – должно быть, это тип, настолько переработанный системой, что он перестает существовать как отдельная личность. Такие тонкошеи, вероятно, безлики и не имеют запаха, их нельзя обнаружить, у них нет желаний и принципов, любой выбор они делают в пользу Компании и ради Компании. Возможно, они приговаривают людей к пыткам или жмут ядерную кнопку только потому, что это их работа.

Диковошь откашлялся и начал излагать нам суть дела, сдабривая речь жалкими ругательствами, потому что именно так, по его мнению, разговаривали Крутые Парни.

– Вы все уже знаете про пожар на Джоргмундской Трубе. – Он внушительно нахмурился. – Так вот, это не просто пожар. Горит насосная станция, очень крупная. Тысячи баррелей ФОКСа вспыхнули, как керосин, и теперь, *мать их*, прожигают дыру в нашем мире! – Тонкошей удрученно кивнул. Он напустил на себя серьезный вид, но все равно выглядел так, словно только что залил ковер красным вином. «Ох, Вивьен, ну что я могу поделать? Да, я растяпа. Нет! Не надо соли. Оставь как есть, его потом выведут. *Дивное* средство, убивает вина любых урожаев наповал! Прямо нервно-паралитический газ для пятен. Да, я тоже сначала не поверил, но... Эй, морячок! В этой позе у тебя сногшибательно пикантное платье!»

На публику это не произвело впечатления, и тонкошей попробовал еще раз, присовокупив яркое сравнение:

– Надо поехать туда и *загасить* эту дрянь, э-э, как свечку, не то... – Тут он умолк, выпустил воздух из легких и предоставил нам додумать метафору самостоятельно. В риторике это называется эллипсис – самый простой прием, но его трудно выполнить достойно. Все равно что с размаху дать оппоненту в глаз – подлее только открыто посмеяться над его уродливой физиономией или упомянуть нечто, о чем вы «лучше умолчите». Мы устали на тонкошея, он слегка порозовел и заткнулся.

– Взрывчатка, – сказал Гонзо, и Джим Хепсоба кивнул:

– Точно.

– Создадим вакуум?

– Ага.

– Думаешь, с ФОКСом получится?

– По идее, да.

– Взрыв должен быть очень большой, – подметила Энни Бык.

– О да, – согласился Гонзо.

– Чтоб потом опять не загорелось, – продолжала Энни. – Охеренно большой взрыв. Сможем такой устроить?

Энни Бык была щекастая, с короткими толстыми пальцами и о взрывчатке знала все. У нее были крепкие плечи, мощные руки и бедра, и еще она коллекционировала кукольные головы. Никто не знал, зачем она это делает: то ли ей нравилось болтать с мягкими плюшевыми друзьями, то ли головы заменяли ей Сгинувших людей. Я никогда не спрашивал, потому что это глубоко личное, а Энни не из тех, кто отвечает на личные вопросы.

Она посмотрела на Джима и Гонзо, те посмотрели на Салли, а Салли посмотрела на Диковоша.

– Да, – с твердой уверенностью ответил тот. – Я все устрою.

Беседы с тонкошеями издавна наводят на меня жуть. Когда разговариваешь с чиновником выше типа Е, складывается впечатление, что перед тобой не вполне человек, и оно не вполне ложное. Один малый по имени Себастьян объяснил мне это так:

Предположим, вы – Альфред Монтроз Фингермаффин, капиталист. Вы владеете фабрикой, на которой промышленные гидравлические прессы штампуют Фингермаффинские Штуковины. Огромные лезвия с грохотом падают на стальную ленту (она похожа на простую, только широченная и сделана из металла) и вырезают Штуковины точно какие-нибудь имбирные пряники. Если машина работает со скоростью сто Штуковин в минуту (то есть каждые шесть секунд из нее выходит десять Штуковин, станок-то штампует их по десять за раз), все прекрасно. Но это в теории, а на практике конвейер приходится часто останавливать, дабы проверить оборудование и сменить рабочих. Каждый простой обходится вам недешево, потому что машина подключена к электропитанию, и все рабочие на местах (фактически, на местах *обе* смены, ведь жалование они получают за полный день). Поэтому вы хотите, чтобы остановки случались как можно реже. Единственный способ определить допустимое число остановок – считать несчастные случаи. Конечно, без них и так не бывает, рабочие частенько дают маху: они сексуально озабочены и, мечтая о подружках, могут приклониться к Большой Красной Кнопке, оттяпав кому-нибудь палец. Словом, вы сокращаете число остановок с пяти до четырех, а проверок безопасности – с двух до одной и внезапно замечаете, что фабрика Фингермаффина выходит в лидеры рынка. Миссис Фингермаффин в восторге, ведь ее пригласили выступить на съезде «Женского института», а маленькие фингермаффинчики вне себя от счастья: новые игрушки ярче и блестящее прежних. Вот только рабочие теперь должны трудиться дольше и внимательней; несчастные случаи становятся чуть серьезнее, с каждым днем их чуть больше. Беда в том, что обратной дороги нет, ведь ваши конкуренты поступили точно так же, и рынок Штуковин стал агрессивнее. Возникает вопрос: насколько можно обнаглеть, чтобы рабочие при этом не поувольнялись? На вашей фабрике теперь чудовищные условия, вы вынуждены нанимать неквалифицированных сотрудников. Добродушный Альф Фингермаффин вдруг оказался владельцем самой жуткой и опасной фабрики в городе. Или же вылетел с рынка, а его кресло занял Джерри К. Хиндерхафт – всем известно, как скверно Джерри К. обращается с подчиненными.

Дабы спасти компанию, сохранить семейное счастье и рабочие места, Альф Монтроз Фингермаффин (то бишь вы) превращается в чудовище. Единственный способ это сделать – раздвоиться, стать Старым Добрым Альфом, который кормит семью, и Злым мистером Фингермаффином, который владеет фабрикой. Его помощники поступают так же. Поэтому, когда вы с ними разговариваете, перед вами вовсе не люди, а часть огромного механизма под названием «Фингермаффин лтд.». Лучше всего функции запчастей исполняют те (это применимо и к рабочим), кто ведет себя не как человек, а как машина. Труженики конвейера должны выполнять все действия быстро и одинаково, а их начальники руководствоваться понятиями «выгода» и «доля рынка». Они убивают в себе мыслящего человека и тупо следуют заложенной программе.

Иными словами, работенка та еще. Но, если не будет землетрясения или второй войны, Гонзо за нее возьмется, а значит, возьмусь и я, и тогда есть вероятность, что остальные тоже возьмется – испугаются, как бы с нами чего не случилось (ну и нельзя же, чтобы мы вдруг умопомрачительно прославились, вернулись домой мультимиллионерами и утерли им носы). Гонзо Любича хлебом не корми, дай побыть за главного. А я просто зарабатываю на жизнь и приношу добычу домой, жене, и мы напиваемся, скачем голышом по дому и кормим друг друга пиццей.

Но вернемся в бар: по Саллиной милости Дик Вошберн торчал на ферме, оцепленной всей мексиканской армией. Он примчал сюда в приподнятом настроении, думал, что к пяти уломает полоумных водил, а вечером его подтянутая аэробикой задница уже будет в

городе, где можно будет опрокинуть пару мартини... «Бог мой, Вивьен, ты бы видела эту дыришу!» Однако Салли в совершенстве владеет переговорным *гун-фу*. В тесном мире частных гражданских агентств она – ведущий специалист, док, пчелиная матка и *вака-сэнсэй*. Ее глаза с ходу различают самый мелкий шрифт, пальцы повторяют контур любой закорючки; она видит договор насквозь, вертит им, как хочет, заставляет его стоять на задних лапках и молить о прикосновении.

Наградной рождественский прием у психолога теперь мнился тонкошею белым трюфелем среди зимы, а его бойкий тестостероновый пыл постепенно таял, как и образ Вивьен в обтягивающем тренировочном костюме. Вместо него Дик Вошберн уже представлял, как Салли вручит ему его собственную голову. Поэтому он перебрал в уме все волшебные приемы, изученные на менеджерских курсах, и испытал последнее средство, самый хитрый и коварный ответ на семь бед (возможно, он изначально собирался так сделать): обезвредить Салли и договориться с нами. Тонкошей типа Д обладает *рудиментарной* человечностью, которую можно засунуть в сигаретную пачку и угощать ею народ на вечеринках.

– Грузовики, – сказал Дик Вошберн.

– Поясни, – распорядилась Салли.

– Когда все кончится, можете оставить грузовики себе. Очень крутые грузовики. – С каждым разом он произносил слово «грузовики» все громче, так что на третий раз его слышали все. Джим поднял глаза, а Салли с опаской обернулась к нему, понимая, что творится неладное, но прекратить это она не в силах.

– Правда очень крутые, – повторил тонкошей.

Салли заметила, что у нас уже есть грузовики; что обладание ими и умение с ними обращаться – краеугольный камень нашей профессиональной самоидентификации как водителей грузовиков, а присутствие здесь тонкошей, в свою очередь, обусловлено желанием использовать эти навыки во благо простого народа и предприятия, полномочным представителем, послом и поверенным которого он является и в интересах которого он хочет путем обмана, афер и мухлежа лишить нас законных гарантий, причитающихся нам в соответствии с существующей практикой и просто здравым смыслом; однако акционеры упомянутого предприятия, равно как и простой народ, непременно осудят неизбежные разбирательства и прения, возникшие в результате означенных плутней, махинаций, жульничества и шельмовства, в случае если хоть какое-нибудь несчастье приключится из-за злоупотребления нашей сметливостью и здравым смыслом в ходе опасной авантюры, в которую первая сторона (тонкошей) втянет вторую сторону, мягкотелую и сентиментальную (наивных водил из самого сурового и авторитетного частного агентства мира).

– Мы все уладим, – ответил тонкошей и хитро улыбнулся. – Вы непременно должны увидеть *грузовики*! – На сей раз он произнес это слово так, будто у него случился первый (или последний) в жизни оргазм.

В общем, мы пошли смотреть. Салли неохотно, Джим спокойно, Гонзо нетерпеливо, Тобмори Трент бочком, словно краб, и остальные в соответствии со своим настроением вышли из «Безымянного бара» на Безымянную стоянку. Тонкошей махнул руками, и вперед, громохвая и лязгая, ярко светя фарами и источая запах свежей резины, винила и моторов, выехали они. Надо же, в самом деле грузовики.

Да не простые, а грузовики-легенды – любое транспортное средство, у которого больше шести колес, мечтает стать таким. От них за милю несло прожорливостью и пульсирующей мощью. Если бы они могли петь, то пели бы низким басом, глубоким и полноводным. У них были кожаные сиденья, системы позиционирования и бронестекло. Новехонькие, а уже с номерными знаками. На приборной доске Батиста Вазилия стояла гавайская куколка, в салоне Сэмюэля П. лежала стопка порнографических снимков, на боку Гонзова грузовика красовались языки пламени, а приборная доска Салли была обита красной зам-

шей. Кто-то в Компании хорошо нас понимал, знал наши нужды, маленькие штучки, без которых мы были бы не «Частным гражданским аварийно-транспортным агентством по спасению мира» (генеральный директор и председатель правления Салли Каллпеппер), а обычными ребятами в дешевых тряпках.

Другими словами, нас заманивали в ловушку. Если вы даете таким ребятам, как мы, такое снаряжение и такое задание, значит, вы: А) хотите нажиться; Б) считаете, у нас нет ни малейшего шанса уцелеть. Скорее всего, и то и другое.

Опять же, это не новость. Если бы они могли сделать все сами – если бы не слишком тряслись за свои шелково-носочные жизни и просто сделали то, что нужно, – они бы не пришли к нам. «Частное агентство» чтит лишь три заповеди: не бросай друзей; делай свое дело; зашиби денег. К ним тонкошей прибавил апокрифы о взысканиях за перерасход материалов и причиненный ущерб, но мы решили его игнорировать: он был лишь марионеткой в руках трусливых боссов, которым всюду мерещились сутяжники. Боссы страшились не только смерти, но и въедливых адвокатов, групповых исков, злых инвесторов, антимонопольных служб и тому подобного. К тому же первая и вторая заповеди не позволяли нам скупиться. Мы взглянули на многочисленные тонкошеевы поправки и сказали: «Ха!»

План в общих чертах:

1. Поехать в точку А и забрать предмет Х (большая коробка с бум-бумом).
2. Отвезти ее в точку Б (насосная станция), которая пребывает в состоянии Г (горит синем пламенем).
3. Познакомить предмет Х с точкой Б («Большая коробка с бум-бумом, знакомьтесь, это насосная станция. Насосная станция, это большая коробка с бум-бумом». Пожимают друг другу руки. «Слушайте, а мы не встречались у Коттлера?» «Надо же, точно, встречались!»), вызвать реакцию П (*бабах, бумс, тарра-рах!*) и состояние Р (сгорание кислорода, псевдовакуум, *чавк-чавк*), таким образом потушив пожар в точке Б («Г, П, мне так жаль, дорогие мои, но пора идти, детям завтра в школу, чао-какао»).
4. Заработать денег на небольшое национальное государство, где можно выращивать ватавабы и целыми днями лопать манго. (Ур-ра, аллилуйя, мы выжили!)

Мне не давал покоя лишь один вопрос (по идее, он должен был настойчиво и неотвязно преследовать всех нас): как Труба, самая надежная и неуязвимая штука за всю историю человечества и инженерной мысли, трижды укрепленный, фантастически безопасный плод самоотверженных общих усилий, вообще могла загореться?! И если поставить вопрос таким образом, ответ очевиден:

Кто-то ее поджег.

Но погодите, мы же из тех, кто делает дело и не задает лишних вопросов (за исключением меня, пожалуй). Тонкошей улыбнулся Салли Каллпеппер, и его победная улыбка малость померкла, когда он понял: мы с самого начала не собирались отказываться, хотя и знали, что он знает, что с нашей стороны ожидаются потери. Мне даже почудилось, будто ему стало стыдно. Потом он опустил глаза, увидел загубленные ботинки, стоившие годового жалованья, и от души возненавидел это: мерзкую грязную и, в первую очередь, *дешевую* дыру. Тонкошейская сущность вернулась на место, когда он обнаружил в себе маленький участок равнодушия и окунулся в теплые воды пофигизма.

Поглядите на него: это не совсем Дик Вошберн. На время разговора Дик временно ушел в отставку. Перед вами не Ричард Вошберн, получивший в пятнадцать лет – за день до Сгинь-Войны – серьезное сотрясение мозга. Несколько недель он валялся в темноте, при свечах (больница, куда он попал, закрылась), а потом рос и мужал в новом, разрушенном мире. Это не Шустрый Дик из банды «Харли-Стрит», который – до того как сиротоискатели пристроили его в семью, и жизнь более-менее наладилась – мог вскрыть любой военный

грузовик и, пока солдаты не видят, стащить оттуда фунт шоколада. Нет, сейчас это воплощение Компании. Его глазами она оценивает обстановку и возможную прибыль. Конечно, Компания – не более чем массовая галлюцинация, свод правил, в выполнении которых и состоит работа Ричарда Вошберна, и всякий раз, когда он это делает – уходит от человеческих проблем, позволяя системе управлять его разумом и губами, поскольку ему не хочется принимать решение самостоятельно, – он становится чуть ближе к тонкошею типа В. Он чувствует укол боли и гнева, когда зверь, которым он себя чувствует, в очередной раз кусает машину, в которую превращается, и рычит в клетке, запрятанной глубоко под вторым (или девятым) лучшим костюмом. Однако зверек этот маленький и не самый свирепый.

Итак, все было кончено. Сделка заключена. Я бочком подобрался к Салли и шепнул ей на ухо:

– Перед тем как сюда заявился Диковошь...

– Хмм?

– Кто-то звонил.

– Да.

– Ошиблись номером?

Салли покачала головой.

– Я соврала, – так же тихо ответила она. – Звонила какая-то женщина.

– И что сказала?

– Попросила не браться за дело.

– Миленко.

– Ага.

– Еще что-нибудь?

– Ну... особенно она просила за тебя.

Салли не сказала «Держи ушки на макушке», потому что хорошо меня знала, и это славно. Она только кивнула и взяла из податливых рук тонкошею ключи от нового грузовика.

Салли с Джимом прыгнули в первую машину, мы с Гонзо во вторую, Томми Лапланд и Рой Роам в третью, и так до конца. Нас было двадцать, по двое в кабине, десять грузовиков немых волос, джинсов и шпор, а замыкал процессию Тобмори Трент в глазной повязке, которую надевал только по особым случаям. Трент родился и вырос в Престоне, на родине пирогов со свиной, и угольная пыль у него в крови. Глаз ему спешно вырезали на Сгинь-Войне – пока не помер или еще что похуже. Трент харкнул на дорогу и взревел – капитан Ахав новых магистралей, не иначе, с гарпуном над водительским сиденьем. Он запрыгнул в кабину и так хлопнул дверью, что закачалась вся фура. Теперь нам оставалось только одно важное дело. Салли пожала руку тонкошею, встала на подножку и оглянулась на нас: гордых, взбудораженных, обалдевших от восемнадцатиколесного счастья. Гонзо Любич из Криклвудской Лощины – рост пять футов одиннадцать дюймов, Швейцарские Альпы в плечах – спустил штаны и помочился на правое переднее колесо нашего грузовика. Когда в шестом номере загикали и завопили Энни Бык с Игоном Шлендером, Гонзо спустил трусы, показал им мускулистую задницу и, вернувшись в кабину, врубил зажигание. Я закинул ноги на приборную доску и вознес крошечную молитву Богу, отвечавшему за мой личный маленький рай.

Господи, я хочу вернуться домой.

Обычно, покидая «Безыманный бар», мы отправлялись вдоль Трубы на запад. Экс-мур находился примерно в миле от главной магистрали, из-за гор тут нередко стояла чудная погода, а милях в восьмидесяти-девяноста отсюда начиналась промежуточная местность, где со встречными надо держать ухо остро – мало ли, вдруг и не люди вовсе. Время от времени через город проезжали торговцы, и для тех, в ком Флинн сомневался, на отшибе был

особый постоянный двор. Уютный и безопасный, однако подальше от семьи. Флинн человек порядочный, но осмотнительный.

На сей раз мы что есть духу помчались на восток. Танк Бона Брискетта был с колесами, развивал приличную скорость, и полковник выжимал из него все что можно, и даже больше. То ли путь нам очистили, то ли никто не ехал в обратном направлении – встречных машин не попадалось. Мы прогромыхали сквозь долину и въехали на узкую дорогу, круто идущую в гору. Ветер дул как надо, с гор и прочь, однако милях в пяти к югу мы все равно увидели широкую дымную завесу, за которой плясали и извивались странные тени. Вскоре можно было свернуть налево, сделать петлю под Трубой и довольно быстро попасть на северо-восток. Я подождал. Мы не свернули.

Вместо этого мы ехали все прямо и прямо, на небе забрезжил рассвет, и внутренний голос велел мне готовиться к худшему, потому что теперь к Хавиланду и к толстой секции основной Трубы нас могла привести единственная дорога. Кратчайшая, черт возьми, вот только мы никогда по ней не ездили, потому что она проходила через Затонувшее Перепутье. Я пихнул Гонзо в бок, он покосился на меня и пожал плечами. Затонувшее Перепутье – скверное место, самый край Границы. Поэтому там всегда безлюдно и мрачно.

Мы выехали на ровный луг, и пустыня кончилась. Перед нами раскинулась широкая зеленая долина, которую перерезала серая, точно вдовья бровь, труба, шедшая от основной на юг. Танк Бона Брискетта повернул, не сбавив скорость, и Гонзо недовольно хмыкнул – то ли спешка ему не угодила, то ли пункт назначения, – но я почувствовал, как он насторожился и стал внимательнее всматриваться в узкие места на дороге, поглядывать на конвоиров и прикидывать, дельные ли они ребята.

Сразу после Овеществления и Сгинь-Войны наступила короткая пора беспочвенного оптимизма, назовем его так. Презрев уроки недавнего прошлого, люди построили некий город, первый из плеяды безопасных светлых городков, где можно было вернуться к привычной жизни, платить налоги, волноваться из-за выпадения волос, растущего брюшка и гадать, в самом ли деле тип из соседнего дома посреди засухи игнорирует запрет на полив лужаек. Город назвали Хейердал-Пойнт, дома распродали желающим отвратить неопровинциальной жизни на границе с неведомым. Поселилось там около пяти тысяч человек. Небольшой капилляр Джоргмундской Трубы проходил через городок; поскольку его построили на вершине холма, из окон открывался вид на долины и опасные туманы нереального мира, а жители чувствовали себя настоящими первопроходцами.

– Когда-нибудь, – говаривали они, прихлебывая кофе без кофеина, – там будут пашни. Теперь это место называли Затонувшим Перепутьем.

Очередной поворот – и вот он, перед нами: ютится на холмике, темный и пустой, словно собачья конура после того, как вы отвезли пса к ветеринару и сказали ему последнее «прощай». Дорога вела прямо туда, Бон Брискетт двинулся по ней, и мы, стало быть, тоже. Затонувшее Перепутье росло, но светлее не становилось, и его неровный силуэт темнел на фоне неба. Огромный сломанный клык, возвышавшийся над остальными постройками, был церковным шпилем, а привалился он к часовой башне с зазубренной крышей. Стрелки на циферблате всегда показывали четверть шестого. Домики аккуратные, бледных цветов, с терракотовыми крышами. Стекла в окнах целые, на главной площади уютно припарковано несколько машин, у одной даже открыта дверца. В таком городке нестрашно оставить ключ в замке зажигания, выскочив за газетой. Когда мы проезжали мимо, с люка слетели птицы – серые и черные голуби с безумными глазами. Один сгруппировался, зачем-то рванул к нам и врезался в ветровое стекло. Или, быть может, его толкнули остальные – нетрудно поверить в убийства среди голубей. Гонзо выругался. Оглушенная птица упала на дорогу, и Сэмюэль П. наверняка ее переехал, если к тому времени она еще лежала там.

Неизвестно, что стряслось в Затонувшем Перепутье. Никто не выжил. Хоть один отчаявшийся оборванец добрел бы до ближайшего городка, хоть один пастух на соседнем холме стал бы свидетелем происшедшего!.. Все произошло бесшумно, следов тоже не осталось. Нечто из нереального мира проглотило всех жителей Хейердал-Пойнта, или же холм, на котором его построили, ел города. Как-то по радио я слышал историю о корабле, сбившемся с курса и однажды приставшем к неведомому острову. Моряки уже не чаяли увидеть сушу; сбитые с толку чужими звездами, они готовились сойти с ума и умереть от жажды. Зарыдав от счастья, люди расцеловали землю и приготовили себе ужин на костре, а к ночи забылись беспокойным сном. Естественно, они проснулись от ужасного воя, земля под ними задрожала, и огромные бескостные руки потащили их в воду. Тогда-то моряки поняли, что искали спасения на спине жуткого морского чудища.

В детстве я любил такие поучительные истории, но, сидя рядом с Гонзо и глядя на аккуратные пустые домики Затонувшего Перепутья, я не мог отделаться от мысли о мидиях, которые съедаешь с чесночным соусом, а раковины бросаешь обратно в тарелку. Нечто простое и страшное произошло в этом городе, и с тех пор такое случалось не раз. Тихими ночами в домах вдоль всей Трубы люди просыпались, прислушивались и дрожали от страха перед тварями из-за Границы. Кто-то оттуда жрал города, целиком, и шел себе дальше. Говорили, это дело рук Найденной Тысячи. Я надеялся, что слухи врут.

Само Перепутье – пересечение нашей дороги и еще одной, идущей с востока на запад, к тем долинам, которые люди надеялись вернуть и возделывать, – находилось на дальнем конце площади. Мы ехали очень медленно, отчасти потому, что мостовая была скользкая от росы, а отчасти потому, что на кладбище не принято визжать покрывками, как бы тебе ни хотелось смяться. В пыли на перекрестке что-то сверкнуло: кусочек посеребренного металла с выгравированным полумесяцем или тарелкой супа. Вещица выглядела дорого, и я невольно спросил себя, давно ли она здесь лежит. Вероятно, с того дня, как Затонувшее Перепутье получило свое название. Наверное, запонка или браслет. Жаль, если сейчас ее кому-то не хватает, и... Внезапно я почувствовал себя кретином и идиотом, потому что хозяин вещицы наверняка умер, и ему больше нет дела до потерянных браслетов и запонок.

Тут город закончился – так же быстро, как и начался. Маленький был городишко. Гонзо крутанул баранку, заводя грузовик в крутой поворот, и последний дом исчез за нашими спинами. Впереди ревел танк Бона Брискетта, и Гонзо забарабанил по рулю: пам-пам-пам-пам-па!

– Открытая дорога! – крикнул я в рацию.

– Экстаз! – заорали Джим Хепсоба и Салли Каллпеппер.

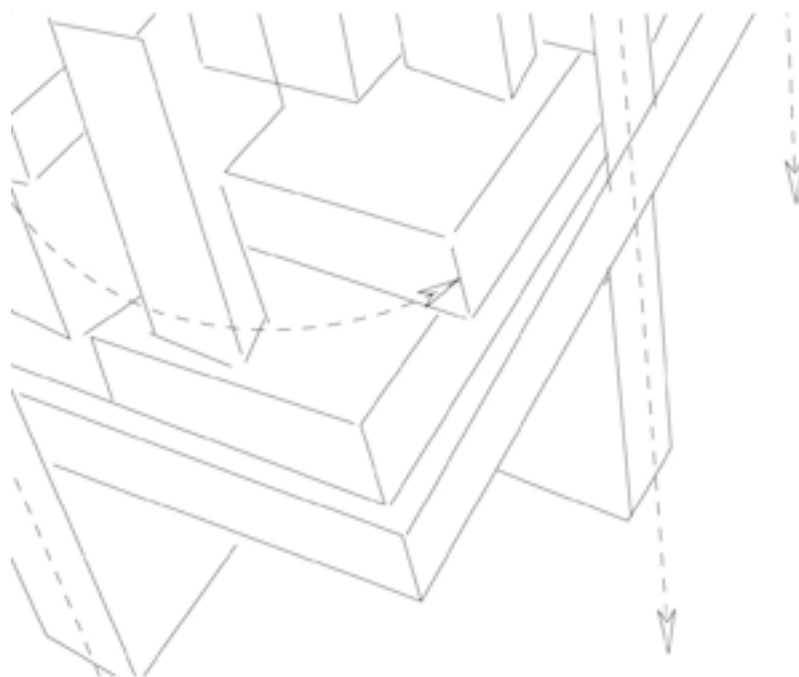
– Пук-пук! – завопил Гонзо Любич.

Бон Брискетт ничего не сказал, но сделал это так, что все мы поняли, кем он нас считает, – полудурками.

Пожалуйста, Господи, пусть я вернусь домой.

Глава II

Детство с Гонзо; ослы, девушки и первые свидания



– Пора обедать, – говорит Ма Любич, представляющая собой обширный фартук, увенчанный копной сальных волос арахисового цвета. Старик Любич не слышит ее за жужжанием пчел или просто не хочет идти – его мешковатый белый силуэт по-прежнему маячит во дворе. Он ковыляет от одного сборного улья к другому, держа в руках канистру с невесомым дымом. Ма Любич издает звук, похожий на рев кита, прочищающего дыхало, и начинает выкладывать ложки и вилки. Облупленный край стола врежется ей в живот. Мама Гонзо – женщина солидная, в церкви занимает два места и однажды чуть не убила взломщика свернутой в трубочку рекламной брошюрой. Сам Гонзо – пока ему хватает пальцев на одной руке, чтобы показать свой возраст, – будет потщедушной, в отца.

Одно из моих самых первых воспоминаний о детстве: меня настороженно и озабоченно разглядывает Гонзо. Только что он играл в какую-то неопишимо сложную игру, один, в самом углу детской площадки – бродил по песочнице, размечая границы, переходы, зоны проникновения и прочее. Теперь ему нужен второй игрок, а позвать некого. Он озирается по сторонам и видит одинокого растерянного мальчика, охваченного неизбывным горем. Сохраняя присутствие духа, Гонзо обращает на страдальца внимание матери, и та подлетает, засыпая меня вопросами: не ушибся ли я, где мои родители, где я живу. Ответов у меня нет. Я знаю только, что почему-то плачу.

Гонзо решает мою беду так: подходит к фургону с мороженым, покупает красный конус фруктового льда с вязкой начинкой и торжественно вручает мне. Через десять минут алхимия сахара и ароматизаторов делает свое дело: я успокаиваюсь, начинаю играть с Гонзо и даже выигрываю – может, он просто решил на меня не налегать; слезы засыхают корочкой на моем комбинезоне. Во время минутного прекращения огня Гонзо сообщает, что днем я могу прийти к нему в гости и познакомиться с его отцом, который чрезвычайно мудр, и отведать стряпни его матери, которой нет равных среди смертных, и даже покормить печеньем люби-

чевских ослов – ни у каких других ослов среди несметного ослиного поголовья не найду я столь гладкой шкурки и столь блестящих глаз. Чутье польской эмигрантки позволяет Ма Любич безошибочно установить, что в семье стало на один рот больше, однако это ее ничуть не беспокоит.

Ма Любич в рукавицах и фартуке бросает многозначительный взгляд во французское окно, но папа Гонзо упорно гоняется с дымарем за единственной строптивой пчелой. Политическое инакомыслие среди пчел надо пресекать. Ма Любич неуклюже разворачивается, перенося вес с одной ноги на другую один раз, два, три, подходит обратно к столу и накрывает его, бранясь по-польски. Юный Гонзо, исполненный сыновнего гнева, вылетает на улицу, дабы усовестить и вернуть старика. Я медленно иду следом. Мне пять лет от роду, и по опыту я уже знаю: внешность обманчива. Люди с честными лицами лгут, а большие корабли тонут там, где маленькие суденышки благополучно переносят шторм. Спросите, откуда мне это известно, и я не смогу вам ответить.

– Ма сказала, пора обедать, – твердо заявляет Гонзо.

Старик Любич, грешник, предавшийся пороку пчеловодства, поднимает одну руку, моля о снисхождении. Пчела сидит на плитке рядом с ним и, вероятно, кашляет. На миг мне чудится, что Гонзо вот-вот раздавит тварь, вставшую на пути к семейной гармонии, но его отец быстр, пусть лицо у него и похоже на выцветшую тряпку. Он внезапно наклоняется, загораживая пчелу от Гонзо, и, осторожно взяв ее двумя пальцами, засовывает в улей № 3.

– Пора обедать, – соглашается старик Любич и вроде бы даже улыбается мне.

Обстановка в доме напряженная с тех пор, как старший брат Гонзо, Маркус, подался в военные и не сумел увернуться от пули в «тихом уголке чужой земли, который будет Англией всегда». Обед для Ма Любич – сеанс белой магии, символ веры. Она убеждена: если Гонзо обильно кормить и добротнo воспитывать, он хорошо устроится в этом мире. Он станет победителем и не будет искать приключений, не покинет мать. Своей стряпней Ма Любич бросает вызов смерти. Старик Любич, однако, знает: по причинам, неясным даже пчелам, рой иногда кидает своих детей на произвол судьбы и смотрит, как они воюют с ветром. Поэтому он готовится к тому дню, когда сын либо найдет матку и заведет собственную семью, либо будет лететь, лететь, пока не упадет, бездыханный, в грязь и не станет вновь частицей топкого луга.

За обедом Ма Любич с мужем не разговаривает. Она молчит от первой картофелины до последнего кусочка шоколадной глазури, молчит за кофе и молчит, когда Гонзо уходит на речку удить рыбу. Но, когда я возвращаюсь за забытыми снастями, я случайно вижу, как ее огромное тело сотрясается от рыданий в объятиях тощего супруга. Старик Любич поет на языке их родины, и внимательные глазки, сверкающие в темноте, заклинаят меня соблюдать зловещую омерту. «Это мужские тайны, мой мальчик, тайны настоящих мужчин». Знаю. Понимаю.

Именно эту картину я вижу всякий раз, когда Гонзо отваживается на безрассудный поступок: сухой, похожий на птичку старик в белом комбинезоне делится силой с пошатнувшейся скалой.

Гонзо удит рыбу. Ловит двух мальков неизвестных видов и бросает их обратно, когда вид у них становится унылый. Я не рассказываю ему, *что* видел минуту назад, а когда оборачиваюсь, прошло уже пять лет.

Гонзо Любич в десять: предводитель и сорвиголова, сам черт ему не брат и море по колено. Он презирает запреты, в него влюблены тысячи юных дев. Лидия Копсен прилюдно ходит с ним за ручку, отчего ему завидуют все мальчишки в округе, хотя никто не понимает причин сего досадного недоразумения (мы дружно сходимся на том, что дело в сладостях: Лидина мама не прячет от нее банку с конфетами). Лидия – миниатюрная властная девочка,

гордая обладательница нескольких платьев с разными фруктовыми узорами. Кроме того, она – это сразу видно – дьяволица и Батская ткачиха. То заносчивая, то любящая, Лидия с врожденной политической прозорливостью расточает легкие, как перышки, поцелуи, а благодаря доступу к конфетам вокруг нее образуется могущественная клика верных подружек, готовых делиться с ней секретами и всячески пресмыкаться перед госпожой в Арбузном Платье. В девять лет Лидия Копсен по статусу уже выше, чем редактор таблоида, хотя еще и не дама с Беверли-Хиллс. Ее восхищение Гонзо можно сравнить только с презрением ко мне, но ведь Гонзо, верный друг, никогда меня не бросит, поэтому я – вечная дуэнья на их ежедневных прогулках вокруг детской площадки и третий лишний, когда Гонзо провожает Лидию домой. По настоянию Лидии я плетусь в десяти шагах от них, чему только рад: будь моя воля, я бы сбежал от влюбленных на другой конец света.

Примерно в этом возрасте я окончательно теряю веру в милостивое божество – не без содействия директрисы нашей школы. *По-настоящему* ее зовут Евангелистка – именно под этим именем ее знают Господь и его ангелы, Яхве и его ангелы, Аллах и его ангелы, а также все остальные боги, их ангелы, демоны, аватары, прислужники, ставленники и баловни. Именно оно значится в сотнях перечней живых и мертвых, с какими таскаются небесные счетоводы. Однако в обычной жизни она прикидывается миссис Эссампшен Сомс из Криклвудской Лощины, где она заправляет школой имени Сомса для городских детей. Это маленькая, стройная женщина, чей возраст никому не известен, но любой ребенок, имеющий доступ к Библии (а все ученики в школе имени Сомса имеют неограниченный доступ к Библии, даже сверх меры, я бы сказал), непременно повстречается с ней в десятой главе Книги Бытия, где-то между Лудом и Арамом. Среди храбрых и глупых ходят сплетни, что ей аж пятьдесят. Мистер Сомс, чей прапрадед и основал школу, некоторое время назад умер от малярии, и родители всех школьников пришли к негласному консенсусу, что умер он с известной долей облегчения. Мистер Брабасен даже предположил, что мистер Сомс часто и подолгу рыбачил в самых темных и неизведанных уголках Криклвудских Болот с целью подхватить там эту болезнь, смертельный вирус, который в восьмидесяти процентах случаев отнимает у жертвы либо слух, либо жизнь – оба печальных исхода были бы для мистера Сомса желанным избавлением от мук.

Дети едва ли могли придумать для Эссампшен Сомс столь изощренное прозвище. Впервые оно родилось среди учителей, пестрой и траченной молью компании блестящих гениев, отбракованных за маленькие слабости другими, излишне чопорными школами. По мнению Евангелистки, эти слабости – лишь испытания, которые наряду с дарами назначил им Господь. Согласно беспредельной мудрости Божьего промысла, те, кто не выдержал испытаний, пришли в целебные и взыскающие объятия миссис Сомс, дабы заботиться о ее подопечных, учиться смирению и искупать грехи. У нескольких из них случаются нервные срывы, и по меньшей мере одному из уцелевших требуется серьезное лечение после того, как Гонзо находит любопытный способ применения мотку лески, пластмассовому черепу и старой попоне. Несмотря на все это, ребята они дельные и вопреки Евангелистке толкают лодку просвещения куда сильнее, чем могли бы при иных обстоятельствах. Мистер Клисп, азартный игрок, учит нас не только математике, но и практической этике: он помещает на доске логические задачи, которые большой ценности не имеют, зато в решенном виде на все лады поносят старую каргу. Также он преподает нам азы покера и учит делать ставки. Мисс Пойнтер (шепчутся, будто раньше она промышляла оказанием услуг физического характера) сильна не только в биологии – на ее уроках мы учимся оказывать первую помощь и получаем сексуальное образование, которое со временем становится более глубоким, так что к десяти годам мы знаем все эрогенные зоны наперечет и понимаем разницу между первичными и вторичными половыми признаками у людей. Позже Евангелистка временно освобождает мисс Пойнтер от обязанностей, а затем и родительский комитет осуждает ее решение обу-

чить девочек некоторым сексуальным техникам, а мальчикам прочитать строгую лекцию о морали и воздержании (приправленную коротким, но незабвенным отступлением о теории и практике куннилинга). Вместе с Эддисоном Мактигом, учителем физкультуры, Мэри Джейн Пойнтер уезжает на две недели на Гавайи, откуда оба возвращаются присмирившими и не такими дергаными, а когда мы чуть не поголовно сдаем экзамены на отлично, Евангелистка решает не увольнять ее – при условии, что у родителей больше не будет повода для жалоб. Комитет, который предпочел бы сжечь мисс Пойнтер на чем-нибудь деревянном и вертикальном, слишком увлечен спорами с Евангелисткой, твердо вознамерившейся исключить из школьной программы некоторые книги. «Приключения Гулливера» удастся отстоять, равно как и «Рождественскую песнь в прозе», а вот «Современные английские рассказы» запрещены навек. Впрочем, они настолько скучные, что даже эта рекомендация не в силах склонить нас к повторному чтению.

Я теряю веру внезапно, и это не столько обращение в атеизм, сколько пересмотр взглядов. Дети моделируют мир, пытаются понять его устройство; их убеждения мягки и податливы, как и их кости. Поэтому новый опыт не причиняет мне боли, мою веру не выкорчевывают – скорее, к моим глазам подносят правильные очки, после того как я некоторое время проходил в чужих. За очередную выходку Гонзо Евангелистка вызывает меня в свой кабинет, и я сижу, дожидаясь вмешательства высших сил, которые откроют ей глаза на правду. Естественно, я воздеваю очи горе, вернее, тому месту над линией роста волос, откуда обычно вещают взрослые, выносят решения сильные мира сего и где обычно бывают головы. Там никого нет. Мне неясно, ищу я Бога или же его более земных представителей в лице папы и мамы, – в любом случае, я никого не вижу. Евангелистка пишет, что я вдобавок «хамски закатываю глаза», и целую неделю я вынужден оставаться в классе после уроков. Гонзо на этот период таинственно заболевает – у него какой-то жуткий заразный кашель, который, впрочем, не мешает ему валять дурака и вскоре передается Лидии Копсен. Выздоровливают они вместе: сидя на разных концах дивана, они под одеялом касаются друг друга ногами и мучаются от страшного удушья.

За весной приходит лето, за летом – осень, и Гонзо ссорится с возлюбленной: она отказывается видеть особую прелесть в прогулках по грязи и неистовом пинании листьев. Лидия не упускает возможности сообщить, что гуляла с ним только из-за осликов. Гонзо отвечает, что ослики ее ненавидят, презируют ее подлые волосы и глупый вздернутый нос. С помощью особого языка жестов они просили передать свое глубочайшее и непоколебимое равнодушие к ее мнениям по всем возможным вопросам. Несчастливая девочка, обмерев от ярости, удаляется, а Гонзо идет на речку, где мы молча удим рыбу. На этот раз Гонзо ловит приличную треску, однако позволяет мне убить и преподнести ее Ма Любич. Та прилежно потрошит и готовит рыбину, а за обедом, к счастью, подает ее вместе с куда более аппетитным мясным рулетом.

Гонзо – не единственный, у кого не ладятся отношения. Одним холодным октябрьским вечером старик усаживает нас в гостиной Ма Любич, и мы наблюдаем, как весь мир бьется в истерику. У Ма Любич занятный телевизор: обитая деревом штука с толстыми кнопками, которая скулит и угрожающе гаснет, временами перегреваясь и требуя отдыха. Тем не менее он показывает нам несметную толпу – никогда не видел столько народу в одном месте. Половина толпы чем-то очень довольна, вторая – наоборот, страшно злится, и ни одна из сторон не склонна проявлять терпимость. Старик Любич объясняет, что так оно и бывает в *политике*. Политика, в сущности, – это когда целые страны или большие скопления людей пытаются убедить остальных в своей правоте. Поскольку это им никогда не удастся, народ снимает прежних деятелей и выбирает новых, те круто меняют курс... Словом, управление страной – не столько военный поход, сколько бесконечные остановки и споры о том, как правильно держать карту.

Сегодня же случилось нечто поразительное. Несмотря на все разногласия, в кои-то веки было принято настоящее решение, причем никто его не ожидал. Если воспользоваться специальным термином, употребленным одним ехидным аналитиком, можно назвать это решение хохмой. Народ далекой Кубы наконец-то сверг своих правителей-коммунистов (на деле у них был не *коммунизм*, а *тоталитаризм*, чуть не плюясь добавил старик Любич, но Ма Любич бросила на него свой фирменный тоталитарный взгляд, и он приутих) и выбрал совершенно невероятный способ войти в мировое сообщество. Кубинцы попросились в состав Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (которое не вполне «*королевство*», поскольку это слово означает другую разновидность *тоталитаризма*) и были приняты. В результате образовалось Соединенное Королевство Великобритании, Северной Ирландии и Свободной Кубы, прозванное зубоскалами Кубританией.

Для вводного курса в политологию это сложновато; впрочем, старик Любич терпелив и хорошо осведомлен, так что к концу вечера я понимаю, что стал свидетелем исторического события, и что народ Кубы решил присоединиться к нации лавочников, поскольку им хочется *инфраструктуры* (то есть дорог и канализационных труб), *свободы* (чтобы можно было корчить рожи политикам) и изрядного вливания денег и нездоровой пищи (это называется *высоким уровнем жизни*). Британцы приняли кубинцев, потому что их грела мысль о притоке хорошо обученных, образованных людей с приятной наружностью и чувством ритма. Кроме того, их национальное самосознание хотело восполнить потерю другого острова, Гонконга, за который им до сих пор обидно. А самое главное, они пошли на это, чтобы у других стран *поджилки затряслись* от страха. Недовольными остались представители *мирового сообщества*, обосновавшегося в таких далеких городах, как Йоханнесбург, Нью-Йорк, Торонто и Париж. Сообщество до сего дня считало Кубу своей собственностью и заключало сделки с *тоталитарными коммунистами*.

Эти сведения почти ничего для меня не значат, но старик Любич утверждает, что однажды я буду гордиться тем, что стал свидетелем такого события. Гонзо, видя в глазах матери неизбывное терпение к мужниным причудам, в это не верит, а я верю. Подспудный жар убежденности тлеет в глазах старика Любича и частично передается мне. Я осторожно прячу Кубританию на чердак моего разума и от греха подальше прикрываю одеялом. В среду первый урок – история; Евангелистка заглядывает в кабинет специально для того, чтобы велеть мистеру Креммелу помалкивать о случившемся, и даже остается на весь урок. Мистер Креммел прилежно рассказывает нам о промышленном перевороте, но, когда приходит время для домашнего задания, допускает безобидную ошибку: на нужных страницах рассказывается о Кубе.

Этой зимой в Криклвудской Лощине идет снег. Сейчас начало декабря, и температура колеблется от минусовой до приятной нулевой. В воздухе стоит странный, свежий запах хвои, древесного дыма и чего-то другого, чистого. Большая низкая туча повисает над лощиной, домом Любичей и (слава Богу, в которого я больше не верю) над школой. Она не пугает и не тревожит, в ней есть что-то нежное и мягкое. Наконец она созревает, и бесчисленное множество белых снежинок устремляется вниз. Попадая за шиворот и холодя спину, до ремня снежинки добираются еще целыми. Это добротный высокогорный снег, он загоняет овец в овчарни и заглядывает в гостиные (метели запирают меня дома, и я открываю для себе мир вестернов: Джон Уэйн навеки становится моим героем, хотя я восхищаюсь им молча, не рискуя подражать, потому что в конце он всегда умирает – зато Уэйна изображает Гонзо, трагично и, подозреваю, не без самолюбования распластываясь по ковру в коридоре).

Когда туча уходит, теплее не становится. Наоборот, наступает жуткий мороз; подобные морозы вызвали оледенение, погубили мамонтов и погнали неандертальцев на юг. Евангелистка отрицает существование неандертальцев, чем вдохновляет нас на недолгие, но без-

удержные поиски еретических или неправильных библий в библиотеке, а также на ожесточенные дебаты о природе Исава. Заскучавшие и упрямые дети – самые непримиримые исследователи.

Спиртовой термометр в Гонзовом саду лопається, и старик Любич, спасая от мороза ульи, сооружает затейливую отопительную систему из компостных куч, где вовсю идет экзотермическая реакция (хотя отец Гонзо называет ее «экзотермитеской реакцией»), то есть процесс разложения сопровождается выделением теплоты. Старик Любич осторожно обкладывает ульи теплой садовой гнилью, и пахнет почему-то травой, а не тухлой жижей, но Ма Любич все равно бранится и бубнит что-то о проклятых пчелах и о том, сколько меда человек может съесть за всю жизнь. Однако старик Любич добродушно отшучивается и обнимает жену – то есть в самом деле обхватывает ее обеими руками и даже чуть отрывает от земли. Ма Любич его шлепает и велит поставить ее на место, пока он не убился. Нетрадиционная система внешнего отопления спасена (хотя Ма Любич берет с мужа обещание, что к весне он все уберет, а то не приведи бог что-нибудь взорвется). В следующее воскресенье и впервые за всю историю Лощины озеро Мегг замерзает.

Озеро Мегг образовалось из старого русла реки и было названо так в честь омеги, одной из немногих букв греческого алфавита, против которых Евангелистка ничего не имела. Все остальные почему-то были *прямой дорогой к распущенности*. Водой его питает подземная река, которая течет от самых Нищих Холмов, а когда долго идет дождь, озеро вскипает над каменистым западным берегом и находит собственный путь к морю. В один миг оно превращается в бурную пучину, которая рвется прочь из котловины и ударяется о скалы на берегу, от чего там, где образуются гребни волн (так написано в учебнике по географии), возникает *конструктивная интерференция*, а на маленьких участках покоя – *деструктивная*. Однако сейчас озеро застыло, обратилось широким полумесяцем толстого и рокошущего льда.

Ма Любич останавливает машину. Она полноприводная, и старику Любичу строго запрещено ее водить, потому что (в те редкие дни, когда по крайней необходимости он все-таки садится за руль) он летает на ней, как на гоночной, нацепив мерзкие солнечные очки и привлекая восхищенные взгляды девиц, которые моложе его костюма.

Ма Любич останавливает зверь-машину на берегу, и Гонзо от нетерпения лезет наружу вперед (а может, и сквозь) меня. Мы вместе разгружаем багажник. Снасти – есть. Пледы – есть. Угольная печка – есть. Пила для льда – есть. Вся семья – с пополнением – приехала на зимнюю рыбалку, которой старик Любич и Ма Любич увлекались в далекой юности, когда она была изящной ланью, а он – здоровяком, могучим и приземистым, словно тропический циклон, и – боже! – как она его любила! Судя по нескромному блеску ее глаз – насколько их можно разглядеть за складками кожи и шерстяным шарфом, – любит до сих пор и будет любить вечно. Вот только между ними стоит призрак одного солдата – не стена, но странный мрачный мост и сокровенная тайна. Маркус Максимус Любич, теннисист и отменный повар, похоронен теперь в чистеньком уголке погоста на краю города, где его временами навещают родители. Сейчас Маркус с нами. Даже Гонзо, который стоит по пояс в снегу и радостно его молотит, на миг притихает и печально улыбается вместе с родителями.

Ма Любич затапливает печку. Она плеснула слишком много жидкости для розжига, и изнутри, опаливая ей шарф, вырывается столб пламени. Ма Любич вопит по-польски что-то непристойное и стыдливо озирается по сторонам, но на тридцать миль вокруг нет ни одного лингвиста, так что она хихикает (несомненно, в ее колеблющемся жире тоже возникает *деструктивная и конструктивная интерференция*, под одеждой не видно), и старик Любич идет за пилой.

Лед озера Мегг пропилить нелегко. Он почему-то прозрачный и твердый, больше похож на ледниковый (который спрессовывался тысячи лет), чем на озерный (который

покрыт трещинками и сочится водой). Отец Гонзо бодро принимается за дело – сперва у берега, а затем, когда становится ясно, что поражение льду не грозит, подальше – без особого успеха. Тогда старик Любич начинает его рубить, однако озеро промерзло по-настоящему, лед прямо арктический – со скверным характером и упрямой миной. Чем-то он похож на самого Любича: из родного города его прогнали за нападки на коммунистов, но и новые ребята пришлись ему не по вкусу, поэтому возвращаться он отказался. Вечный изгой, мятежник, строчащий письма на родину, отец Гонзо не сдастся. Он пропилит лед любой ценой, даже объявит ему войну, если понадобится. Тут на помощь Любичу приходит сын.

Обычно главный наперсник Гонзо – это я. Именно мне он выкладывает свои самые дерзкие замыслы, а моя задача – отвергать их и предлагать что-нибудь не столь опасное, как когда он хочет подсоединить фонарик к электричеству и сделать из него лазерный меч. Однако сегодня у Гонзо появился менее пресыщенный и, вероятно, менее разумный слушатель. Родители готовы носить своих чад на руках. Отцы особенно любят потакать сыновьям, когда те пытаются исполнять священные мужские обязанности вроде отстрела врагов, поджогов и таскания могучих туш по заснеженным просторам. Конкретная ситуация – возможное уничтожение охотников клана посредством неодушевленной глыбы льда – в целом подпадает под эти категории, и потому, когда Гонзо предлагает отцу простое и верное решение, старик Любич смотрит ему прямо в глаза. В этом взгляде можно прочесть, что когда-то, примерно в возрасте Гонзо, ему в голову пришла столь же великолепная идея, однако тяжелый каблук взрослого благоразумия растоптал это бесценное сокровище. И вот теперь у него, отца Гонзо, появился шанс исполнить задуманное, отомстить за себя и заодно продемонстрировать куда более глубокое понимание неукротимого сыновнего гения. Седой, потрепанный жизнью, в красной фланелевой рубашке и нелепой меховой шапке, старик Любич благодушно взирает на сына.

– Повтори! – гордо произносит он.

– Надо взять жидкость для розжига, – говорит юный анархист, – и *прожечь* во льду лунку!

Ма Любич тихо вздыхает, но где-то в глубине ее матриархальной души живет девушка, запавшая на безумный взгляд и развевающиеся волосы Любича (все это еще при нем). Ее глаза говорят: «Я *не одобряю* вашу затею, *не* считаю ее разумной, *не* собираюсь за вас отвечать, но мне не терпится на это взглянуть, и я щедро вознагражу того принца, который осмелится претворить в жизнь сей дерзкий замысел».

Итак, негласное противоречие разрешено, мои бесформенные тревоги отринуты, и порядок действий примерно следующий:

1) выбрать место, не меньше чем в тридцати метрах от берега, где должно будет произойти возгорание, а позже начнется рыбалка;

2) старик Любич в одиночку подойдет к означенному месту и развернет военные действия:

– выдолбит во льду маленькую ямку;

– нальет в нее побольше жидкости для розжига и засунет туда растопку, которой послужит все, что найдется в багажнике и на земле;

– из тех же материалов проложит фитиль к берегу, где

3) его будем ждать мы, и, когда он окажется в безопасности,

4) мы совместными усилиями растопим печь.

Когда все это сделано должным образом, случается нечто прекрасное и удивительное, чего мы никак не ожидали.

Сперва, как и было заявлено, яркое пламя проворно съедает фитиль и пробирается к резервуару старика Любича. Резервуар – полный горючей жидкости с добавлением хвороста,

угля и парочки ковриков из багажника – тоже загорается, образуя пятифутовый столб пламени. Поднимается некоторое количество дыма, который вполне может быть паром. Наше изобретение плавит лед не слишком бойко, хотя, вероятно, это еще цветочки. Так и есть: далее события развиваются куда эффектнее, чем мы ожидали. Раздается гром, будто нас обстреливают из минометов, или поезд сходит с рельс, или падает церковная колокольня. Мощный, тектонический, оглушительный грохот идет словно бы отовсюду. На самом деле не отовсюду, но я-то маленький, а шум очень громкий.

Лед трескается – как если жарким летним днем бросить кубик льда в лимонад. Трещина узкая, но она очень быстро удлиняется, от нее отходят другие, и что-то огромное шевелится подо льдом. Ма Любич – материнский инстинкт предупреждает ее об опасности и возможных последствиях – оценивает масштаб происходящего. Пока под слоем льда бьются динозавры, она швыряет своих ненаглядных балбесов в машину и трогается так резко, что пугает даже старика Любича. Сквозь заднее стекло мы с Гонзо замороженно смотрим на озеро Мегг. Во всем мире только мы видим, что происходит, когда шестидесятилетний бунтарь, решивший похвастать былой удалью перед домочадцами, выпускает на волю подземные воды, несколько дней томившиеся в ледяном плену.

Глыба последний раз изгибается, и с громким *шишумпф!* наружу вылетает ледяная пена. Водяной плюмаж поднимается выше самых высоких деревьев на берегу, и обломки льда шлепаются перед нами на дорогу, точно куски воскресного жаркого. Все воды Нищих Холмов, замершие на пути к морю и за несколько дней скопившиеся в колонну высотой двести футов, наконец-то вышли на свободу.

Справа от нас на поле падает утка, оглушенная баллистической слякотью. Начинается дождь из снега, льда, воды и небольшого количества злополучных лягушек.

Старик Любич оглядывается на катастрофу и начинает смеяться. Это не истерический хохот, а искренний восторженный смех над удивительным зрелищем и собственным безумием. Ма Любич осыпает его бранью, но лицо у нее румяное, она тоже смеется, и, если у Гонзо когда-нибудь появится младший брат, сделают его явно сегодня.

Через несколько дней ледниковый период в Лощине заканчивается, как будто наша добрая магия разбила оковы зимы. Снег тает за ночь, и вскоре тут и там появляются маленькие зеленые штучки, жаждущие внимания. Любичевских ослов (виновников большого, ныне забытого скандала) выводят из зимнего жилища на улицу – пусть опять считают себя уличными животными. Их скорбные и явно симулянтские крики несколько ночей кряду не дают нам спать, однако Ма Любич верна своему железному правилу, и ослы, поняв, что орать бесполезно, успокаиваются.

Итак, Гонзо – поджигатель и вожак. А его постоянный спутник – мальчик-невидимка? Он тоже растет. Его не хотят брать в футбольную команду, он не участвует в спортивных состязаниях и вечно торчит на скамейке запасных. Он – тень Гонзо и время от времени его совесть, когда План (будь то налет на кухню или побег в Монголию, к цыганам) требует излишеств, выходящих далеко за рамки забав, от каких взрослые еще готовы отмахнуться со словами: «Ох уж эти мальчишки!» Обхитрить библиотекаря и выкрасть запрещенные книги? Слишком предсказуемо. Пустить обитателей муравьиной фермы по сахарному следу в учительскую душевую? Весьма остроумно; добьемся жидких аплодисментов от учительницы биологии, а в наказание схлопочем исправительные работы. На разработку и испытания взрывчатки из подручных материалов я налагаю абсолютное вето: не то чтобы я не восхищен красотой замысла, просто я еще помню о запретах и правилах. Вряд ли кто-нибудь разрешит нам при помощи самопального нитроглицерина поднять на двести метров в воздух футбольный стадион (хоть и пустой), да и наши познания в алхимии не столь глубоки. В отличие от Гонзо я хорошо помню поучительный фильм о напуганных и удрученных жертвах собствен-

ного тщеславия, заклинавших нас не рисковать. Вместо этого мы решаем изготовить смесь, вызывающую характерные внутренние шумы в первом отделе коровьих желудков, однако наше варево никак не действует на испытуемых, если не считать незначительного учащения растерянных «му-у».

В четырнадцать Гонзо открывает для себя фильмы с восточными единоборствами: творческое наследие господ Б. Ли, Д. Чана и других актеров большего или меньшего таланта. Эти фильмы удивительно сентиментальны, полны торжественных клятв и пафоса. В кино гонконгского производства много непереводаемых каламбуров – герои расточают их в припадках певучего подтрунивания друг над другом. Сюжеты высокоморальные, шекспировские и имеют тенденцию минут на двадцать рвануть в каком-нибудь неожиданном направлении, а потом как ни в чем ни бывало вернуться.

Вдохновленный всем этим, Гонзо записывается на карате. Он идеально подходит для боевых искусств: он бесстрашен, физически развит и в восторге от перемен, происходящих в его теле от бесконечных нагрузок. Одно плохо: на вечеринку Гонзо опоздал. Он мог бы стать настоящим мастером, если бы начал тренироваться раньше. А так остается довольствоваться статусом прекрасного ученика. Для его хилого приятеля (чей *йоко-гери-кекоми* действительно самый хилый в округе) карате – очередная арена, где жизнь имеет законное право наносить ему удары, однако он не сдается. Несмотря на давно пришедшее понимание, что с другом ему нипочем не сравниться, он – то бишь я – никогда не бросал начатое. Это качество чуждо Гонзо, который в своем беспечном и неукротимом шествии по жизни о таком даже не задумывался.

Однажды вселенная решает, что я уже оперился, и требует от меня первого самостоятельного полета. Мэри-сэнсэй уводит меня с татами, чтобы осмотреть мой расквашенный (в который раз) нос. Мне его никогда не ломали, но – в отличие от рук, так и оставшихся хрупкими несмотря на постоянные тренировки с грушей, – он наверняка оброс толстым слоем кальция. Интересно, им уже можно разбивать доски? Мэри-сэнсэй отвечает, вряд ли, и лучше отложить этот эксперимент на неопределенное время. Ростом метр шестьдесят и весом сорок четыре килограмма, Мэри-сэнсэй говорит, что я не создан для карате. Но, раз уж я так предан делу, она может предложить альтернативу: другую школу.

Я возражаю – Гонзо не захочет менять школу.

– Нет, Гонзо и здесь хорошо. Переведись сам, без него.

Концепция неожиданная, однако – надо же! – весьма заманчивая.

– В другую школу карате?

– Нет, попробуй другой стиль. Более мягкий.

– В каком смысле «мягкий»?

Она объясняет.

В результате меня проводят по всем местным секциям, где учат «мягким» боевым искусствам, и первым делом я понимаю: определение «мягкий» обманчиво и относительно. Не нужно сравнивать себя с людьми, которые отчаянно стремятся превратить свое тело в машину для убийства и целыми часами, днями, месяцами колошматят доски и манекены, обитые наждачкой, а час для них проходит впустую, если не разбить ногой пяток кирпичей. Дело не в том, жесток стиль или нет, важно другое: открыта его жестокость или изысканна, неуловима. Новичку мягкие стили покажутся изнеженными и вычурными, а жесткие – брутальными и беспощадными. Правда же заключается в том, что мягкие виды более осмысленно подходят к причинению боли и вреда противнику. А вот что неприятней для врага – вопрос открытый; остается для меня загадкой и то, какой стиль в нашей провинциальной глуши привлекает больше ненормальных. От айкидоков с суровыми улыбками я ухожу сразу: их безупречно невозмутимые лица словно говорят, что ни жизнь твоя, ни смерть не имеют никакого значения, а в конце поединка они изображают, что добивают поверженного

мечом. Более современные разновидности джиу-джитсу, европейская и бразильская, тоже мне не по душе: в первую секцию ходят веселые крутые парни ростом не выше метра шести-десяти и примерно такие же в плечах, во вторую – смешливые извращенцы с нездоровой любовью к болевым захватам и женщинам в непрактичных купальниках. Надменный пури-танин, я без лишних раздумий выхожу из этих залов. Вот загвоздка: дзюдо – скорее искусство самозащиты; тайцзи – красиво и изящно, но надо прозаниматься им всю жизнь, чтобы в бою от тебя был какой-то прок. Более эзотерические – хотя и не менее жесткие, чем карате, – эскрима и силат в нашей округе не преподаются. Я обращаю на Мэри-сэнсэй отчаянный взгляд, и в кои-то веки моего желания оказывается достаточно.

– Да, – говорит Мэри-сэнсэй, – есть еще одно боевое искусство.

Именно так, впервые без Гонзо Любича, я оказываюсь на пороге Школы Безгласного Дракона, чтобы проситься в ученики к У Шэньяну.

– Шэнь и Ян произносятся как бы раздельно, но пишутся слитно, – сказала Мэри-сэнсэй две минуты назад, почему-то взволнованно. Мы сидели в ее «фольксвагене» и ждали, когда подойдет назначенное нам время. – Не вздумай называть его У Шэньяном, для тебя он мистер У, или мастер У, или... – Больше она ничего придумать не в силах, да и вообще, нам пора. Дверь открывается. Восторженный голос зовет: «Входите-входите!» – и я вижу, как мои ноги переступают порог.

Мистер (мастер) У – первый учитель, который пригласил меня к себе домой, и первый тренер, захотевший познакомиться со мной вне мата, прежде чем оценить мои боевые способности. По словам Мэри-сэнсэй, если он не найдет в моем сердце того, что нужно, нет смысла испытывать остальное. Я внимательно обследую свое сердце – уж очень уязвимый орган для таких высоких требований. Оно правильного размера и расположено не там, где думают киномены (в верхней левой части груди находится легкое), а чуть левее центра. Оно бьется со скоростью семьдесят ударов в минуту и вполне исправно качает необходимые вещества и кислород по моему телу; насколько мне известно, у него нет никаких загадок, сверхъестественных способностей или тайного наследия. Убедившись таким образом в своей непригодности, я могу со спокойной совестью осмотреть гостиную, которая сама по себе замечательна. Это не просто место, где можно сидеть, читать и пить чай с кексом, а прямо сокровищница, полная загадочных и любопытных вещей. В углу стоит воинственный золотой кабан, на каминной полке – две собачки фу, всюду торшеры разных времен, на стенах оружие и фарфоровые утки. У Шэньян по-прежнему меня осматривает; я чувствую на себе его внимательный взгляд и начинаю составлять перечень здешних предметов, уже смирившись с ролью уборщика или чернорабочего.

Бросаются в глаза:

Два кресла, антикварных, но чудовищно удобных – сразу видно. Они стоят по двум сторонам камина в другом конце комнаты, рядом с журнальным столиком хитрой конструкции, которая позволяет прятать книжки под столешницей.

Повернутый спинкой ко входу кожаный диван столь же почтенного возраста, обнаруживающий признаки (как-то: подушка и одеяло) того, что на нем недавно спали. Оказывается, человек этот по-прежнему лежит на диване – с западного конца торчат две худенькие, наверняка девчачьи (судя по узору на белых носках) ноги – моей сверстницы или девочки помладше.

Напольные часы с ровным, пусть и чуть торопливым ходом, темного дерева, местами покрытого сусальным золотом. Передняя дверца открыта, и видно, как маятник медленно качается слева направо и обратно, вопреки всем традициям издавая уверенный и бескомпромиссный *так-тик*. Девочка на диване явно жива и не спит, потому что ее северная нога тоже временами *так-тикает*.

Письменный стол и стул, оба щедро усыпаны крошками кекса и бумагами. Они скорее удобные, чем солидные, а стопки писем и рисунков увенчивает единственный лист чистой бумаги, на котором лежит карандаш. Мистер (мастер) У не использует ручку для повседневных задач, ведь в той стране – или в том *времени*, – откуда он пришел, чернила дороги. Тончайший из тонких намеков: мистер (мастер) У пишет по-китайски.

Предмет: допотопный граммофон, самый настоящий, не стерео, не вертушка и не CD-плеер, а облезлая хрипящая конструкция с хромированной ручкой, огромным рупором в форме цветка и тупой иглой, извлекающей музыку из хрупких черных пластинок, вращающихся со скоростью 78 оборотов в минуту. Все происходит механически, без электричества, транзисторов и микросхем.

Для меня, рожденного в цифровой век, это прямо-таки белая магия, столь волнующая, что на миг я даже забываю бояться. Мне теперь трудно относиться к хозяину как к ужасно важному и помпезному человеку, потому что сам он во всем видит игру. Вот и сейчас мистер (мастер) У подсакивает к граммофону и показывает его во всей красе: крутит ручку, выбирает старую запись «Фиск джубили сингерс» и широко улыбается в ожидании отклика на свой чудесный фокус. Я слишком поражен потрескивающим чудом и не в силах даже улыбнуться, пока песня не кончается и мистер У ловко не поднимает иглу. Он вытаскивает из-за аппарата пакет с еще более невероятными записями и вручает мне. Я перебираю пластинки с мучительной тревогой, что какую-нибудь да разобью, в конце концов ставлю адажио из «Концерта для кларнета с оркестром ля-мажор» Моцарта и слушаю до самого конца. Мистер (мастер) У не спускает глаз с моих пальцев, когда я в точности, как он, поднимаю иглу, потому что штука эта слишком безупречная, слишком бережно хранимая, слишком любовно сделанная, чтобы по неосторожности причинить ей вред. И вот тут-то я наконец поднимаю глаза на учителя.

У Шэньян высокий и худой. Он вовсе не похож на Будду, больше смахивает на стремянку в домашнем халате. Время отшлифовало его, отполировало и пошло по своим делам, так что в восемьдесят лет он сильнее команды университетских атлетов вместе взятых, хоть и прихрамывает на правую ногу. Его широкое коричневое лицо не бесстрастное, как у Такадзи-сэнсэя, который однажды заходил в додзё Мэри и выразительно хмыкал всякий раз, когда я наносил девчонке из Хозли жалкие предсказуемые удары; и не строгое, несмотря на кустистые белоснежные брови. У Шэньян громко – настораживающе – хохочет, чаще не попадая, и словно бы получает удовольствие от сущих пустяков вроде цвета оконной замазки или скользкого коврика у стола. Последнее он демонстрирует так: уверенно встает на коврик и начинает бешено дергаться, вертя бедрами и шаркая по полу тапочками, быстро перенося вес с одной ноги на другую. Закончив, он явно ждет от меня того же. Опасаясь, как бы он не решил, что я пародирую его хромоту, я все-таки точно копирую движения, и учитель одобрительно смеется, вопя: «Элвис Пресли! Грейсленд!» На слове «рок-н-ролл» он жутко путается, потому что в его английском даже спустя много лет слышится примесь родного языка, однако и это ни капли его не огорчает, а стало быть, меня тоже. Мы идем дальше: ему нравятся мои брюки, а вот часы, на его вкус, слишком детские – циферблат в виде улыбки-вой кошачьей морды, усы вместо стрелок. Кроме того, У Шэньян считает, что мне нужно сменить парикмахера, и, хотя чувство долга велит мне вступить за домашнюю стрижку Ма Любич, я делаю это с осознанием его правоты. Он извиняется – передо мной и перед Ма Любич. Из-за спинки дивана доносится фыркание, но я непреклонен. Старик без тени иронии обращается со мной как с равным – хотя допускает, что я чуть менее опытен и разборчив в часовых механизмах. За разговором мы меряемся руками: мои такие же тонкие, как его, что приводит его в необъяснимый восторг. И лишь когда я объясняю, зачем явился (хотя старик и так должен это знать), он собирается с мыслями: окидывает меня серьезным взглядом и задумывается. Я морально готовлюсь к неизбежному – к тяжелейшему испыта-

нию и отказу. У Шэньян поворачивается к стене и находит среди фарфоровых уток короткий толстый меч с одним лезвием и острым кончиком. Он осторожно вынимает его из ножен и обращается ко мне:

– Оружие войны. В большом почете у воинов. Прекрасная работа. – Морщится. – Или, как тут говорят, нож мясника! Очень острый и очень старый. Возьми его и скажи, что ты чувствуешь.

Он протягивает меч, и вдруг его больная нога поскальзывается на коврик. Оружие войны взлетает в воздух, медленно вращаясь вокруг рукоятки, пока (к моему огромному облегчению, шевельнутая-то я еще не успел) острое не поворачивается в другую сторону. У Шэньян подается вперед, почти ныряет, и я осознаю, что меч сейчас вонзится ему в грудь. Я обязан что-то предпринять. Верхний край меча тупой, поэтому я ударяю по нему правой рукой, выталкивая острое из нашего круга, тут же шагаю вперед и сгибаю ноги в коленях, держа спину прямо, чтобы поймать падающего старика.

Тот не падает. Внезапно выбросив вперед больную ногу, он легко опирается на нее, а пойманный без труда меч плавной, шелестящей спиралью рассекает воздух и отправляется в ножны. Вместо тяжести я ощущаю на руках легчайшее движение воздуха, а У Шэньян уже возле двери. Я смотрю вниз. Мои ноги расставлены, будто я сижу в седле, руки согнуты в локтях, ладони раскрыты.

– Это называется «Обнимая Тигра, Возвращаясь к Горе», – через секунду говорит мастер У. – Тренируйся.

Девочка встает с дивана, невероятно торжественно пожимает мне руку, и только тогда я понимаю, что меня приняли в ученики и что каким-то чудом я все сделал правильно.

– Элизабет – мой секретарь, – совершенно серьезно говорит мистер У. – Она строгая, но, если будешь хорошо себя вести, вы поладите.

Так и происходит. Элизабет – маленькая светловолосая девочка, которая редко говорит, тем не менее заправляет Школой Безгласного Дракона с уверенностью, присущей всем леди ее возраста. Она ходит на занятия вместе с остальными учениками и живет на диване, потому что у ее мамы нет времени на дочь. Мастер У охотно подчиняется ее тирании, а она, в свою очередь, старается властвовать разумно, изящно и даже – подумать только! – благосклонно. Порой, когда мастеру У одиноко, или он скучает по родине, или просто устал, Элизабет готовит пряный яблочный кекс или баоцзы, и мы вместе едим – помогает. Вместе, потому что меня вроде как вторично усыновили, и теперь я провожу время то с Гонзо, то с мастером У.

Искусству Безгласного Дракона учат ежедневно в семь утра и в семь вечера, а по выходным – весь день напролет. Ученики приходят, когда могут, и остаются по меньшей мере на час. На неделе мастер У занимается каллиграфией и читает много книг, чтобы иметь кучу беспорядочных знаний о самых разных вещах; некоторые из них полезны, другие нет, но все так или иначе нам преподаются. Поэтому наряду с «Походкой Элвиса» мы оттачиваем формы «Шаг Лоренцова Дворца» (математическое гун-фу), «Витрувианский Кулак» (гун-фу Да Винчи) и – пока не вмешивается Элизабет – «Руку Фаллопиевой Трубы» (это название мы взяли из учебника по биологии, пытаюсь описать, как сгибается рука в финальной позиции). Я постоянно учусь и, хоть и трачу много времени впустую, когда надо бы делать уроки, от общения с мастером У оценки мои становятся только лучше. Поначалу я волнуюсь, как бы Гонзо не обиделся на мои частые отлучки, но у него свои дела, и некоторые из них требуют личного пространства.

В марте к мастеру У приходит нежеланный гость: человек по имени Лассерли, аж из самого Ньюпорта. Лассерли – настырный тип с большой головой. У него очень толстые руки, почему-то пахнущие старым брезентом. Он хочет знать Секреты. Каждый, кто занимается каким-либо боевым искусством, слышал про Секреты. О них ходит множество сплетен и баек. Некоторые учителя вдалбливают своим подопечным, будто Секреты позволят им

побеждать старость и смерть, задерживать дыхание на сколько угодно часов и выбрасывать дух из тела, чтобы разить врагов, как из бластера Флэша Гордона. Другие учителя, более здравомыслящие или честные, утверждают, что Секреты символичны и означают лишь промежуточные станции на пути к познанию самого себя либо являются особо важными стилистическими элементами – для опытных учеников. Мастер У говорит Лассерли, что никаких Секретов нет.

– Да ладно вам, – упирается Лассерли, – есть.

Нет, ласково отвечает мастер У.

– Вы много чего знаете.

Это, несомненно, правда, и почти наверняка мастеру У известно больше, чем Лассерли, однако у него нет желания разговаривать с Лассерли о таких вещах, потому что Лассерли неотесан и даже груб, а мастер У предпочел бы провести вечер с более приятными ему людьми.

– Ну ладно. Тогда давайте драться.

Это нелепо, если уж говорить начистоту. Лассерли килограммов на пятьдесят тяжелее мастера У, и руки у него все в мозолях от постоянных тренировок.

Нет, помолчав с минуту, отвечает мастер У, не вижу смысла.

Лассерли уходит. По пути к двери он тычет огромным пальцем мне в грудь. В одном прикосновении ощущается вся сила его тела. Он мог бы направить ее в свой палец и проткнуть меня насквозь. Напрасно я подпустил его так близко.

– Зря теряешь время, – говорит Лассерли. – Этот старикан не знает Секретов.

И выходит, хлопнув дверью с такой силой, что фарфоровые утки на полках дребезжат.

Мы тренируемся в тишине. Мастер У очень грустен.

Вечером этого черного дня, когда мастер усидел три куска кекса и раздумывает, не усидеть ли четвертый, Элизабет решает спросить его про Лассерли. Сперва тон у нее любопытный, но к концу фразы голос поднимается, потому что она больше не может скрывать гнев... или стыд.

– Почему вы отказались драться?

Тут она слышит саму себя и в ужасе замолкает.

Мастер У пожимает плечами:

– Мистер Лассерли хотел затеять драку, чтобы узнать, владею ли я Секретами. Теперь он думает, что получил ответ. Будто я не стал драться, поскольку знал, чем это закончится.

– Но ведь он думал, что победит!

В этом вся соль: уверенность Лассерли поколебала нашу.

– Ох, ну надо же! – с искренним недоумением восклицает мастер У. – Я вовсе не хотел, чтобы у него сложилось такое впечатление! – Он широко раскрывает глаза, словно только сейчас понял, как все это выглядело. – Ну и *болван* же я! По-вашему, стоит позвонить и сказать, что я запросто его размажу, потому что у него деревянные ноги, он неповоротлив, как медведь, и зря так напрягает плечи? Но, – радостно заметил мастер У, – он не оставил номера! Да и пусть. – Смеется. – Секретов никаких нет, зато есть много такого, чем я не хочу делиться с мистером Лассерли. Секреты нужно бережно хранить, даже если их нет.

– Так они есть? Секреты?

– Секреты? – Мастер У словно впервые слышит это слово.

Элизабет строго смотрит на него и говорит:

– Да, тайные учения. Для посвященных.

– Ах, вот ты о чем! – улыбается мастер У.

– Именно, – подтверждает Элизабет спустя минуту, когда У Шэньян вновь устремляет взгляд к яблочному кексу, и она понимает, что выражение глубокой озабоченности на его лице относится к нему, а вовсе не к тайнам ци.

– Ты имеешь в виду Внутренние Алхимии? Медитацию «Железная Кожа» и удар «Призрачная Ладонь»?

«Железная Кожа» делает воина неуязвимым перед любым физическим оружием; «Призрачная Ладонь» проходит сквозь твердые вещества, этот удар нельзя отразить. Я видел подобное в кино, но понятия не имел, что девчонки тоже смотрят такие фильмы.

– Да, – говорит Элизабет.

– Что ж, их действительно не существует.

Именно так он отвечает всем, кто спрашивает, а рано или поздно спрашивают все. У мастера У несколько учеников, некоторые из них обзавелись собственными учениками, те – своими и так далее; дерево открытий, познаний и наставлений раскинуло свои ветви по всему миру, однако его корень здесь, в Криклвудской Лощине, и рано или поздно все ученики приходят к мастеру У. Каждое поколение учеников должно признавать родство с остальными – у нас есть старшие тетушки и дядюшки из Истборна и Вестхейвена, бесчисленные братья, сестры, племянницы и племянники. Некоторые ведут себя нагло, другие почтительно, но все они, приезжая, готовятся к встрече со святым воителем или даже с полубогом, окутанным завесой тайн, и мастер У самым бесцеремонным образом избавляет их от этого заблуждения.

– Нет никакой магии, – твердо заявляет он. – Нет никаких Секретов, ничего «для посвященных». Истина не таится, она проста. И очень трудна... но я упрям! – Смех, слишком громкий даже для него, затем маленькая улыбочка: – И удачлив! Я рано начал. – Под этим он подразумевает, что отец пел обучающие песни над его колыбелью в Яньане.

– Нет, – говорит нам мастер У. – Никаких Секретов нет. Совсем. Хотите, научу вас одному?

– Чему?

– Секрету.

– Вы сказали, что их нет.

– А я придумую. Чтобы в следующий раз вы могли ответить, что все-таки знаете Секреты. Правда, мистер Лассерли может очень разозлиться, если пронюхает... – Это грозное препятствие ничуть не пугает мастера У. С минуту он размышляет и говорит: – Ладно, расскажу вам историю и один Секрет. Готовы?

Киваем.

– Однажды, – начинает мастер У, – в те дни, когда мамы ваших мам были молоды и красивы, а радио еще не разнесло голос Англии по всем уголкам мира, жил-был мальчик, который слышал море, даже когда оно было за тысячу миль от него. Он мог стоять на сухом холме и наслаждаться прибоем. Сидеть, глядя на горы, и слушать, как бурные волны разбиваются о высокие скалы, которых он никогда не видел. Соленая вода была в его венах и сердце.

И это часто ему мешало. Из него вышел плохой земледелец, плохой охотник, плохой сапожник и очень плохой музыкант, потому что из-за шума воды он отвлекался и играл невпопад. Хуже того, когда он сбивался, всех остальных тоже затягивало в морские отливы и приливы; даже самая веселая музыка замедлялась и начинала звучать как похоронный марш: глубокие, низкие вдохи, затихающие и вновь нарастающие, словно рыдания.

Вы наверняка подумали, что никто его не любил, но он был добрый мальчик, и близкие у него тоже были добрые. Пока он много работал и старался не портить вещи, все были довольны. Он двигался изящно и плавно, переступая с одной ноги на другую и обратно, вперед-назад, внутрь и наружу. Однако не всякая вещь подойдет тому, кто ходит как конь-качалка, и пусть его прикосновения были легки, а хватка – крепка, временами он что-нибудь

отламывал или толкал людей. По утрам юноша работал с отцом, делая вещи из кожи, – в отцовской мастерской можно было раскачиваться сколько угодно, не боясь что-нибудь расколотить; днем работал с дядей и пек хлеб – тесто любит, когда его катают и теребят, будто водоросли на мелководе. Ночью он закрывал глаза, ждал, пока его омоют морские брызги, и дышал в такт волнам, разбивающимся о неведомые скалы. И каждое, каждое утро на рассвете они с отцом, дядей и остальными домочадцами – даже с женщинами, как ни странно, – оттачивали гун-фу, ибо знали: однажды им придется сражаться. Наш юноша учился старательнее всех, потому что его терпение было подобно морю, шепчущему у него в голове.

Однажды в деревню пришел великий мастер гун-фу. Толстый наемный воин, да к тому же без работы – а это очень опасно. В ту пору великих мастеров было много, некоторые были очень великие, другие совсем чуть-чуть, а третьих так называли из вежливости. Этот был где-то посередине: быстрый, как кошка, но не как молния; сильный, как речной бык, но не как горный медведь или великан; умный, но не мудрый. К тому же он использовал свою силу, скорость и власть во вред людям. Как-то раз этот великий мастер, не очень хороший человек, напился в деревенской пивной, стал размахивать обломанной дубиной и ударил хозяина пивной промеж глаз. У того треснул череп, и он умер, а мастер принялся за остальных посетителей и за семью хозяина.

Тогда кожевник и его брат – отец и дядя нашего юноши – подошли к нему и велели вести себя как подобает мастеру, а не головорезу, и он сокрушенно потупил взор, а когда они потеряли бдительность, ударил их своей обломанной дубиной и вышвырнул за дверь. У отца юноши на голове выскочила шишка, а дядя окосел, и у него пошла кровь из уха. Наш юноша, прежде никогда не бывавший в бою, пришел в пивную и сказал этому старому, великому мастеру гун-фу, что он подлый человек, жалкая тварь, слабак, пьянь неотесанная, и ни одна девка не ляжет с ним бесплатно. Пока мастер недоуменно пялился на юнца, тот добавил еще несколько слов поглубже – возможно, они были несправедливы, зато привлекли внимание врага. Итак, начался бой.

Мастер У улыбается, разминает узкие плечи, и его глаза вспыхивают, когда воспоминания уносят прочь его годы.

– Знатный был бой. Много ударов. Сотня или около того. Они скакали, лупили друг друга, и молодой человек сломал ногой дубинку мастера, и тот отшвырнул его к стене, и юноша вскочил на ноги, вновь набросился на противника, и так далее, и тому подобное, пока вся мебель в пивной не превратилась в щепки. Оба дрожали и покрылись синяками, но великий мастер все еще крепко стоял на ногах. Юноша истекал кровью, губы у него распухли. Тогда великий мастер сказал:

– Ты хорошо дерешься, молодой человек, но ты устал, а я сильнее и старше тебя. Если ты сдашься, я больше не причиню тебе вреда, если нет, я сломаю тебя, как ты сломал мою дубинку, и твоя мать будет оплакивать бесцельно прожитые годы.

Юноша не ответил. Он улыбнулся, как будто только сейчас понял нечто важное, закрыл глаза и прислушался к плеску волн. Он начал двигаться под медленный неотвратимый ритм в голове, и буря придавала сил его уставшим рукам и ногам, а прилив и отлив смыли боль и тревоги, и скоро всю комнату затопил рев моря. Великий мастер тоже поддался этому ритму, и оба противника двигались, как один, покуда юноша не услышал приближение огромной волны, из самой глубины моря. Она обрушилась на него всей мощью, какая могла бы сокрушить камень: великий мастер с криком упал на колени, и битва была окончена. Много недель мастер лечил свои раны, а потом расплатился за причиненный ущерб и, униженный, покинул деревню. Говорят, потом он стал пекарем, женился и подобрел.

А юношу называли Океан, и, хоть он по-прежнему был ужасным земледельцем и очень плохим танцором, отец, дядя, мать и все родные любили его и гордились им, и жил он счастливо. Секрет же звучит так...

Мастер У прищуривает один глаз, выпучивает второй, скрючивает пальцы и шипит. Видимо, так в его понимании надо передавать тайные знания:

– *Объединив свою ци с энергией врага, слив воедино дыхание ваших жизней, ты поко-
ришь самую неприступную крепость. Вот! Хороший Секрет?*

Понятия не имею. Звучит как настоящая тайна. И как полная чушь. Следовательно, это первоклассное *чепухидо*, новодел от боевых искусств. Не знаю, стоит заучить его наизусть или счесть наглядным примером того, как легко подделать древнюю мудрость. Давным-давно старик Любич работал в аукционном доме далекого Нью-Йорка, и теперь он любит вспоминать одну фразу об иконографии Восточной Европы: «Семнадцатый век, но художник еще жив».

– Что это значит? – спрашивает Элизабет.

– Понятия не имею. Наверное, что угодно. Зато теперь у нас есть Секрет, о котором мы никому не расскажем! – Он смеется. У Шэньян, мастер Школы Безгласного Дракона, сочиняет сказки, точно какая-нибудь Лидия Копсен.

Потом он ставит еще одну пластинку (на сей раз Эллы Фитцджеральд, которая – по словам мастера У – много чего знала про ци), и так мы с Элизабет оказываемся первыми посвященными в тайные учения Безгласного Дракона.

Лето в этом году аномально жаркое и засушливое. Земля в саду Ма Любич постепенно превращается в пыль, лужайка трескается и выцветает. Сколько ни поливай, почва так пересохла, что уже не впитывает воду, и, прежде чем растения успевают напиться, солнце выпаривает всю влагу в воздух. В конце концов Ма Любич начинает поливать ночью, а днем старик Любич накрывает сад большим пологом из простыней. Иногда Гонзо ходит в гости к Анджеле Госби (чтобы поплавать в бассейне и предаться безудержной страсти с его хозяйкой), а в остальное время лежит в тени и заявляет, что не в силах шевельнуться. Когда температура поднимается еще на градус, довольны только пчелы, но даже им приходится идти на жертвы. Температура в улье не должна подниматься выше 36 градусов, поэтому от дома Любичей до Криклвудского ручья пролегает жужжащий воздушный коридор, по которому пчелы в своих хрупких лапках переносят мельчайшие капли воды. Кондиционирование воздуха посредством рабского труда, – если допустить, что ульем заправляет деспот. Однако старик Любич уже давно объяснил нам, что пчелиную матку любят и почитают, но ей не повинуются; рой – своего рода биологическая машина. Правда, Любич еще не решил, представляет ли его устройство некую жутковатую социальную гармонию или это кошмар слепого подчинения непрерывно повторяющемуся, бессмысленному циклу. Старик размышляет об этом вслух, пока Ма Любич не заявляет, что в жару такие беседы непозволительны, и он с благодарностью променивает философско-политические убеждения на стакан прохладного лимонада.

Затем приходит сентябрь с проливными дождями. Конечно, сухие деньки тоже выдаются, хоть барбекю устраивай, но все же раскаленный утюг лета поднят и отставлен в сторону. Мы опять идем в школу, и среди вновь прибывших за сомнительной мудростью Евангелистки я нахожу свежего мучителя.

Донни Финч – Большой Плохой Парень. Он силен, спортивен, асоциален (в незначительной степени) и безжалостен ко всем, кто привлекает в классе больше внимания, чем он. Донни мгновенно втирается в доверие, мгновенно надоедает до тошноты и мгновенно определяет своих подчиненных. На перемене между французским и биологией он припирает меня к стенке и заявляет, что отныне я буду называть его «сэр».

Вот это я ненавижу больше всего. Донни Финч меня не знает. У него нет причин для враждебного отношения. Он просто уверен, что Так Будет. Он Донни Финч, а я нет. Согласно единственной логике, какая его интересует, меня надо травить и презирать. Он упирается

мне в грудь толстой влажной лапой и лыбится (сразу вспоминаю мистера Лассерли). Так заведено. Совершенно безмозглый порядок вещей – детерминистское пчелиное общество старика Любича, доведенное до абсурда и липких рук. Никаких обсуждений и полутонов: они просто не вписываются в картину мира Донни Финча. Он их остерегается и взамен прибегает к старым проверенным методам.

Я мысленно вычисляю риск и блага, какие сулит мне победа над Донни Финчем. Я не беспомощен. Я бы мог его убить, и в данный момент именно это я и хочу сделать. Его тело уязвимо. В пределах моей досягаемости есть четыре точки, удар по которым раз и навсегда положит конец нашему разговору, хотя для смертельного удара по трем из них (в висок, гортань и переносицу) нужно больше сил, чем у меня, вероятно, есть. Удар в сонную артерию – своеобразная лотерея. Правильный толчок вырубит Финча, но может вызвать закупорку сосуда в мозге, если оторвется какой-нибудь тромб или холестериновая бляшка. Убить *по ошибке* я не хочу.

Как ни приятно было бы изувечить Донни, это не выход. Лишь реакция – такая же примитивная, как он сам. Словом, я просто замираю, парализованный и удрученный. Мне хочется дать волю гневу. Но я понимаю: нельзя. В шестнадцать лет ужасно быть связанным совестью по рукам и ногам. Я смотрю на розовое лицо и мерзкий веснушчатый рот Донни Финча: кем он станет, когда вырастет? Может, так и будет всю жизнь бандитом. Он припечатывает меня к стенке, я выдыхаю и готовлюсь испытать менее смертельные приемы, что по определению нелегко: нужно большое мастерство, чтобы отделаться от противника, не причинив ему серьезного вреда. И тут Донни Финча милосердно затмевают: орбита привела планету Гонзо в восточный коридор, а серьезность моего положения заставила его вмешаться. Он молча встает между нами и сжимает руку Донни Финча. Меня отпускают. Не знаю, радоваться этому или нет.

Вместе с Рождеством появляются ленты, елки и фирменный торт Ма Любич. Евангелистка, одержимая безотчетным страхом гормонального разгула в Сезон Рождения Господа, объявляет, что свидания запрещены Библией. Мы так обескуражены, что в библиотеку выстраивается очередь – вдруг мы действительно что-то упустили в Писании. Теологические дебаты идут всю зиму и часть весны.

В Линдери, соседний городок, переезжает дочь мастера У. Она ровесница Ма Любич, но выглядит не старше меня. Юми очень миниатюрная и очень красивая, а ее дочку – двух лет от роду – зовут Офелия. Офелия с серьезным видом наблюдает за тем, как я практикую «Объятие Тигра», и непрестанно колотит меня по ноге. Это отвлекает. Я пытаюсь сосредоточиться. Офелия советуется с мастером У, и тот одобряет нововведение, широко улыбаясь, когда его помощница переходит к следующему ученику.

У одного из ослов начинает скверно пахнуть изо рта – чересчур скверно даже для осла. Остальные его сторонятся, и долгое время мы слышим скорбные крики одинокого и всеми преданного животного. Потом приезжает ветеринар, творит какое-то чудо с абсцессом и все налаживается.

В апреле я гуляю вдоль Криклвудского ручья с Пенни Грин: она ходит на географию с Гонзо и закалывает волосы пластмассовой бабочкой. На улице холодно и очень красиво. Мы смотрим на воду и болтаем об утках, когда она вдруг подается в мою сторону. На миг я решаю, что она оступилась, но потом чувствую на спине ее тонкие цепкие руки, и Пенни, извиваясь по моей груди, словно угорь, звонко целует меня в губы. В некоторых местах она мягкая, в других – колючая, и у меня в голове словно бы включают свет, когда я ощущаю разницу между ее телом и своим. Мы целуемся очень долго. Пенни довольна. Она уходит домой. Я жду, что за этим последует официальное свидание, но нет, мы остаемся друзьями. Как выясняется, мне все равно. Потом она влюбляется в мальчика по имени Кастор, и выглядит это – со стороны, по крайней мере, – напрасной тратой времени. Я иду на свидание с

Александрой Фринк, но она чудовищная зануда (а может, зануда я). Мы расходимся целомудренно и с известной долей облегчения.

Наступает день, когда мы с мастером У сливаемся в вихре рук, ног, действий и противодействий («Ньютон! Очень хорошее гун-фу!»); мастер У случайно открывается, и я наношу резкий удар, тут же думая, что допустил ошибку, что могу случайно разбить граммофон, и как это будет ужасно и невероятно, если я причиню вред учителю – пусть только набью синяк или не дай бог пораню кожу. В этот миг одна рука мастера У бережно, но крепко хватает мою, а вторая, повинаясь тому же движению вокруг основания позвоночника, использует силу моего удара и швыряет меня в декоративный пруд с рыбками, от чего сам мастер У и несколько старших учеников чуть не лопаются от смеха, а мои восторг и облегчение столь велики, что меня спешно вытаскивают из пруда, пока я не захлебнулся. Однако восторг мастера У сильнее моего, потому что он еще и горд.

– Молодец! Ты победил!

– Я же упал в пруд! – возражаю я, но он мотает головой:

– Нет, я недооценил твою скорость! Мне пришлось сделать то, чего я не хотел. – Он улыбается. – Может, ты уже постиг суть Секрета? Твоя энергия ци почти слилась с моей! Если так, скоро меня будешь учить ты. – Мастер смеется и весь сияет, я тоже. С веранды за нами наблюдает Элизабет. Она с невозмутимым лицом дает мне полотенце, и вот это уже действительно большая честь.

– А кто-нибудь побеждал вас по-настоящему? Или был хотя бы близок к победе? – спрашиваю я мастера У вечером, когда он свешивает ноги с маленького мостика в глубине сада и остужает их в воде.

– О, мои ученики всегда близки к победе, просто не знают об этом, а я им не говорю.

– Но мне-то вы сказали!

– Один раз! И больше не скажу. Теперь будешь тренироваться как остальные, да? Да! Все ученики получают от меня то, что им нужно, но не более. – Учитель улыбается. – Один из них может меня побить. Однако он этого не делает.

– Почему?

– Он думает, будто знает, что нужно *мне*. Что я хочу сойти в могилу непобежденным. – Широкая улыбка. – Хотя скорее он просто боится узнать, что ошибался! – Мастер У громко смеется и окатывает меня брызгами.

Неделю спустя в дверь Дома Безгласного Дракона стучит учитель Алана Лассерли. Он полчаса смотрит, как мастер У тренирует Офелию – наблюдает за его ногами, руками и поступью, за тем, как мастер У нажимает на точку под коленкой Офелии, и та вытягивается в струнку, становясь маленькой воительницей, а не девочкой, играющей в гун-фу. Когда Юми уводит дочь пить молоко, мистер Хемптон кланяется в пояс мастеру У и благодарит его за урок. Мастер У говорит мистеру Хемптону, что рад встрече, а мистер Хемптон говорит, что все бы отдал, только бы познакомиться с мастером У в возрасте Офелии. Мастер У отвечает, что когда мистер Хемптон был в возрасте Офелии, мастер У был диким необузданным юнцом, падким на спиртные напитки и разведения в публичных местах. Мистер Хемптон улыбается и признает, что такое вполне возможно, а мастер У уверяет его, что есть даже фотографии, но никто и никогда их не увидит. Мистер Хемптон говорит, что оно и к лучшему. Они пьют чай. Справившись о здравии всех родных и друзей мистера Хемптона, мастер У задает вопрос о мистере Лассерли. Мистер Хемптон отвечает, что мистер Лассерли, увы, – по-прежнему остопок, и оба находят этот факт весьма прискорбным.

На следующий вечер я впервые замечаю колокольчики. Увидев их, я сознаю, что они были в доме всегда и являются такой же неотъемлемой его частью, как фарфоровые утки, –

только их расположение хорошо продумано. Среди хаоса, окружающего мастера У, они бросятся в глаза своей *упорядоченностью*.

Мы с Элизабет и мастером У бездельничаем. Кое-как поужинав кексом, сыром, фруктами и саями, мы обсуждаем китайскую космонавтику. Беседа весьма оживленная. В качестве наглядного материала уже приспособлена масленка (Луна), блюдо из-под кекса (Земля) и манго (Солнце, по общему согласию, гораздо больше Земли и находится куда дальше, но без него не обойтись), а мастер У в данный момент размахивает ложкой, обозначающей «Аполлон». Суть его доводов заключается в том, что Луна находится в *верхней* части неба, а Америка (как наглядно показано на европейских и американских картах) расположена в *верхней* половине мира. Поэтому путь от Штатов к Луне гораздо короче, нежели путь туда же от Китая, который (как наглядно показано на европейских и американских картах) находится в *нижней* половине. Следовательно, нет никакого противоречия между убеждением мастера У в том, что Китай – самая развитая страна на планете, и фактом, что американцы первыми попали на Луну. Им просто не нужно было прилагать столько усилий.

Элизабет огорошена доводами мастера У по двум причинам. Во-первых, это такой нелепый вздор, что с ним трудно спорить. Во-вторых, она не может избавиться от подозрения, что ее досточтимый учитель хорошо понимает всю нелепость своих доводов и аккуратно водит ее вокруг пальца, вытягивая из нее культурные предрассудки, то есть, фактически, *дразнится*. С минуту она лопочет что-то бессвязное.

Изначально меня одолевает спортивный интерес, и я даже вклиниваюсь в дебаты с гипотезой, что американские ракетчики, наоборот, были в невыгодном положении, поскольку Земля вертится, и им пришлось строить очень быстрый корабль, чтобы он успел добраться до Луны, пока она не пролетела над головой, а у китайцев было больше времени для маневров и корректировки курса. Мастер У отменяет мою догадку как незначительную, Элизабет отныне считает меня предателем, и они вновь принимаются за свое: учитель подмигивает и действует всем на нервы, а Элизабет терзается сомнениями. Наблюдать за ней любопытно, поскольку это большая редкость. Основное качество Элизабет – ее уверенность. Однако, когда они начинают спорить о влиянии манго на расположение блюда и о том, не стоит ли заменить манго другим предметом, в нескольких милях от нас и размером с дом, я опять отключаюсь и осматриваю комнату новым или, по крайней мере, более внимательным к мелочам взглядом.

Обстановка, разумеется, хорошо мне знакома. С тех пор как я впервые увидел эту мягкую мебель, оружие на стенах и влюбился в граммофон, я сидел тут тысячу раз. В настоящий момент я гляжу на окна. Прежде я не обращал на них особого внимания, но сегодня был тяжелый день, мы много занимались гун-фу, съели кекс (Землю) и выпили чай (это либо незначительная ошибка в эксперименте, либо чудовищное по космическим масштабам событие, грозящее нарушить гравитационный баланс всей Солнечной системы), так что меня охватило умиротворенное и созерцательное настроение. Я внимательно наблюдал за мастером У и заключил, что подергивание его верхней губы – на самом деле *ухмылка*, и обстоятельство это свидетельствует в пользу того, что нас дурачат. Я осмотрел верхнюю губу Элизабет и пришел к выводу, что это очень хорошая губа, тонкая, бледно-розовая и чуть испачканная глазурью. Затем я переключил внимание на обстановку.

Оконные рамы сделаны из темного дерева, покрытого тонким слоем лака, а на краях запеклась желтая смола – обработанное дерево с годами «пропотело». На ощупь смола будет гладкой, блестящей и слегка податливой, а потом треснет, как леденцовый сахар. Стекло старое и чуть-чуть неровное. Вообще, стекло – загадочная штука. Однажды я подслушал разговор мистера Кармигана, учителя химии, и мисс Фолдерой, учительницы рисования. Мистер Кармиган утверждал, что стекло – фактически жидкость, которая с годами медленно, но верно подчиняется силе тяготения, а мисс Фолдерой говорила – нет, не жидкость и не под-

чиняется. Мистер Кармиган заметил, что для личных эмпирических наблюдений им понадобится слишком много лет, и ни он, ни она столько не проживут. Мисс Фолдерой ударила его губкой. Спор – как и тот, что разгорался передо мной сейчас, – был оживленный, но благодушный. Как и сегодняшний, он не сильно меня интересовал.

Вновь разглядываю окна. Шторы в доме мастера У подобраны затейливо и эклектично. Окно за белокурой головой Элизабет убрано белым хлопком с узором из вишен. Ткань полупрозрачная, и сквозь нее видна Луна (настоящая – не масленка). Окно за спиной мастера У украшено зелеными велюровыми порттьерами, теплыми и зимними, с узором из золотых монет. Я поворачиваю голову. На окне рядом с письменным столом висят коричневые шторы из необработанного шелка, поразительно унылые, хотя когда-то они явно стоили немалых денег.

Мое внимание привлекает нечто другое. На каждом окне висят колокольчики. Маленькие, но не совсем крошечные, которые едва слышно дребезжат. Каждый колокольчик подвешен отдельно, а каждая нить прикреплена к более толстой веревке – она, в свою очередь, спадает с тонкой полочки, прибитой к оконной раме. Заденешь один колокольчик – звякнет только он. Попытаешься его снять – зазвенит весь комплект, а от чуть приоткрытого окна поднимется трезвон, как на концерте перкуссионистов. Я поворачиваюсь к двери: колокольчики на ней подвешены чуть иначе. Такая же замысловатая система имеется на каминной решетке. Фактически, когда мастер У ложится спать и вешает колокольчики перед углями, он включает низкотехнологичную охранную сигнализацию. До меня доходит, что, хотя я сотни раз смотрел на окна, колокольчиков не замечал. Странно.

Мастер У и Элизабет по-прежнему обсуждают космический вопрос, но мастер У потерял интерес к спору – точнее, обнаружил нечто более интересное. Новое открытие меня взбодрило. До сих пор я, точно корова, умиротворенно переваривал пищу (вернее, размышлял), однако в какой-то миг, пока я рассматривал колокольчики, мое внимание обострилось, а вместе с ним изменилось и ощущение от моего присутствия в комнате. Мастер У сразу же это заметил и теперь пристально смотрит на меня, объясняя, что, *даже если бы Луна была в середине неба, китайцам все равно пришлось бы к ней подниматься, а американцы могли бы просто на нее упасть*. Элизабет чувствует, что учитель отвлекся. Оба откладывают космологию на второй план, и мастер У спрашивает меня, что стряслось.

– Ничего, – отвечаю я. – Ничего не стряслось. Просто я заметил колокольчики. На окнах.

– Ах да! – мастер У кивает. – Это очень важно. Я ведь мастер Школы Безгласного Дракона. Всюду враги.

– Враги?!

– О да. – Учитель добродушно улыбается. – Разумеется.

– Что за враги?

– Ну как же? – беззаботно говорит мастер У. – Ниндзя.

Он пожимает плечами и откусывает кекс, дожидаясь, пока кто-нибудь из нас скажет «но...». Ему ясно, что рано или поздно это случится. Нам с Элизабет тоже. Само слово «ниндзя» в устах мастера У звучит так, словно концертирующий виолончелист сбацал «Мама mia» на укулеле. Ниндзя – это бред. Ниндзя – это цветочные феи от гун-фу и карате. Они прыгают выше крыш и молниеносно прокапывают туннели в земле. Они умеют становиться невидимками. Они постигли суть Тайных Учений (одно из которых теперь известно нам, и только нам) и умеют такое, что иначе как волшебством не назовешь. В этом, очевидно, вся соль. Мастер У придурился.

Прежде чем меня охватывает замешательство, которое уже начало подниматься по спине, Элизабет говорит «но». Я буду любить ее вечно.

– Но...

– Ниндзя – это глупо? – подсказывает мастер У.

Мы киваем.

– Да, – соглашается он. – Очень глупо. Парни в черных пижамах уворачиваются от пуль. Знаю. Дело ведь не в слове. Да и слово-то неправильное.

Учитель умолкает и откидывается на спинку стула. Когда он заговаривает вновь, его голос звучит ниже, без привычного веселого треска и стариковской невнятности, а сам он выглядит много старше и печальнее:

– В ночь, когда я родился, моя мать спряталась в колодце с каменной крышкой. Она рожала меня при свете керосиновой лампы. Первыми запахами в моей жизни были запахи грязи, сажи и крови. Роды принимали мой отец и ветеринар, потому что врача не было. В это время на площади той деревни, где мы остановились, мои дяди резали свинью. Она визжала семь часов, до самого утра, чтобы никто в деревне не узнал про роды и мать могла не сдерживать крики. Четыре дня дяди тащили ее на носилках и говорили, что их друг Фэйхун тяжело захворал. До этого она три месяца притворялась мужчиной, толстяком Фэйхуном. Привязывала к животу мешок с камнями и, по мере того как я рос, выбрасывала один камень за другим, так что жители деревни, глядя на нее, видели того же Жирного Фэйхуна со смешными ручками, кривыми ножками и маленькими ступнями. У моей матушки были немодные ступни: слишком велики для женщины, маловаты для мужчины. Когда прошло четыре дня, дяди больше не могли тащить ее на носилках: люди стали бы спрашивать, не подхватили ли Фэйхун что-нибудь страшное и не лучше ли его бросить. Тогда матушка пошла сама, а меня положила в перевязь, где раньше носила камни. Я учился быть тихим ребенком. Когда я все-таки плакал, матушка начинала петь – очень громко и очень пискляво, будто мужчина, пытающийся петь женским голосом, и ее прозвали Фэйхуном-Писклей, а мои дяди и отец ей подпевали. Макаку У, Кота У и Козла У было слышно за несколько миль, и фермеры клялись, что от их воплей киснет молоко. Мы всегда были в бегах. Последние из клана Безгласного Дракона прятались от врагов, поднимая как можно больше шума.

Почему? Из-за ниндзя. Не тех ниндзя, что вы видели в гонконгских боевиках. Летать они не умели. Вряд ли уворачивались от пуль. Но... разили из темноты. Убивали во мраке. Пожалуй, это они делали *очень хорошо*. И давным-давно кто-то им заплатил или просто приказал убить всю нашу семью, чтобы гун-фу моего прапрапрадеда кануло в небытие. Они не уймутся. В этом смысл их жизни. Война навек. Старший брат моего отца, его дети, их мать... Все они погибли еще до моего рождения.

Мастер У вздыхает.

– В ту пору в Китае многие воевали. Чан Кайши преследовал Мао по всей стране. Вместе с людьми Мао мы отправились в Великий Поход. Тысячи миль по горам и долам. Наша война растворилась в их войне. И когда погибали люди – или их случайно, перепутав с нами, убивали ниндзя, – этого тоже никто не замечал. В те годы все умирали.

Учитель кивает в сторону стены, увешанной оружием. Раньше я считал, что он гордится этими мечами. Теперь я понимаю, что мастер У хранит их в память о погибших. На редкость уродливыми утками он гордится куда больше.

– Они воевали, – продолжает учитель, – за власть. А мы воевали за свою жизнь, разумеется, и еще за право *выбора*. Это почти то же самое. Мы учим вас гун-фу, чтобы у вас был выбор. Иначе... вся власть будет в руках одного человека, верно? А если он неразумен? Сотни людей кланяются ребенку, который только и делает, что потакает своим прихотям. Никакой ответственности. Лишь приказы. Никакой мудрости. Лишь действия. Трон фактически пустует. Китаю достаточно малолетних императоров.

Тот, кто заплатил ниндзя, считал, что мы неправы. Власть должна быть у одного человека. Ничто не должно нарушать привычного хода вещей. А возможно, они были сами по себе. Общество Заводной Руки или ниндзя, зовите их как хотите. Они воевали с Безгласным

Драконом. Они и мы. На веки вечные. Словом, мать принесла меня в Яньань в колыбели из камней. В три года отец стал учить меня гун-фу. А еще раньше я овладел искусством молчания – моими первыми учителями были ниндзя.

Будь мастер У седеющим дальнобойщиком или ветераном более знакомых нам войн, он бы прикурил сигарету, взял бы нас за руки и сказал, что нам очень повезло. Ничего такого он не делает. Только вздыхает, и исходящая от него печаль почти материальна. Я слышал о людях, превращавших свой гнев в физическую силу, в оружие. Но я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь разил врагов печалью.

Оглядываюсь по сторонам. Пока мы разговаривали, наступила ночь. Окно на веранду открыто, и я настораживаюсь: не слышно ли снаружи чьих-нибудь крадущихся шагов? В глубине сада что-то шуршит. Разве ниндзя шуршат? Наверное, самые искусные ниндзя шуршат как соседский пес. Или так, чтобы предупредить о своем присутствии, но оставить врага в сомнениях. С другой стороны, настоящий ниндзя может счесть такие фокусы игрушками для любителей.

Я пытаюсь расслабить плечи: нельзя чтобы нападающий застал меня напряженным. В большом мягком кресле сделать это невероятно трудно, и я чувствую себя болваном – зачем я сел в кресло? Элизабет устроилась на более жестком стуле с прямой спинкой, следовательно, ей достаточно вскочить на ноги или кувырнуться вперед, чтобы быть готовой ко всему. Мастер У сидит в кресле-качалке, но уперся тростью в пол. У него масса возможностей привести себя в боевую готовность. Одного меня застанут врасплох, буквально на заднице. Я был невнимателен. С другой стороны, если уж совсем откровенно, два более искусных воина оказались благодаря моему выбору на удобных позициях. Возможно, подсознательно я – великий тактик.

– Когда мне было пять, – продолжает мастер У, – я соорудил ловушку для ниндзя. – Его печаль отступает, сменяясь чем-то теплым: давней гордостью, бережно хранимой все эти годы. – Я пошел в лес вынимать из силков добычу – кроликов – и увидел на земле следы. Ночью из леса приходили ниндзя и следили за нами. Они любили предупреждать нас о слежке, чтобы с наступлением темноты нас охватывал страх. Однако был день, и я подумал, что смогу поймать ниндзя, если заманю его в ловушку. Тогда мама не будет так сильно бояться, и, быть может, я увижу одобрение на лице папы – как когда я много работаю на его сыромятне или продолжаю тренироваться после занятий. Если повезет, он даже хмыкнет. Мой отец смеялся, когда ему было смешно, и улыбался, когда был рад, но только хмыкал, когда его что-то впечатляло. Из-за меня он хмыкал очень редко. Поэтому я взял дома кое-какие инструменты и соорудил из кожи очень большой силок, прикрыл его грязными листьями и прицепил к старому бревну: если ниндзя дотронется до силка, бревно поднимет его в воздух, да там и оставит.

Мастер У пожал плечами.

– Ловушка была очень плохая. Может, какой-нибудь старый, жирный, глупый ниндзя оступился бы и упал на брюхо, хохоча над моими потугами, и даже поранился бы. Упав он в правильном направлении, одна его нога угодила бы в силок. Но потом, отдышавшись и успокоившись, он просто перерезал бы бечевку и ушел. Ниндзя ведь не кролики.

Однако в ту ночь я проснулся и увидел в своей комнате ниндзя. Он внимательно посмотрел на меня и проговорил:

– Меня зовут Хун. Можешь звать меня мастер Хун. Как зовут тебя?

Я назвал свое имя.

– Известно ли тебе, кто я?

Я ответил, что он *сюн шоу*, наемный убийца; тогда я еще ничего не знал про ниндзя. Он рассмеялся.

– Я шифу Хун из Общества Заводной Руки. Мы – сыновья тигров, надежда Китая и всего мира. Мы поддерживаем порядок. А ты... ты маленький мальчик, который ставит на нас капканы.

Я ничего не сказал, потому что очень испугался.

– Дети не охотятся на тигров, мальчик. Тигры охотятся на детей.

Зря он это про тигров: на детей охотятся только ниндзя. Я промолчал – мне было так страшно, что я не мог шевельнуться, закричать и даже описаться, хотя очень хотелось. Ниндзя сказал:

– Теперь мы пришли за тобой, потому что ты возгордился. Потому что рано или поздно мы приходим. Тебе повезло. Мы не заставили тебя ждать. Рано или поздно мы приходим.

И он вытащил нож, который можно спрятать под одеждой на самом роскошном званом обеде и которым очень легко вскрыть вены маленькому мальчику. Я приготовился к тому, чтобы ощутить скрежет лезвия по костям, почувствовать теплый фонтан своей жизни и узнать, какая судьба ожидает детей на том свете. А потом... представляете, *как* я удивился? На миг я даже подумал, что это часть приготовлений к убийству. Его левую ногу подбросило в воздух, а сам он вылетел в коридор, уронив нож на пол моей спальни. Раздался жуткий крик, и наступила тишина. Вошел отец. Он вынес меня в коридор, и там я увидел своего ниндзя, подвешенного за ногу к потолку. У него из груди торчало большое шило для кожи, а силек был точь-в-точь мой. Отец взял меня за плечи, велел посмотреть на ниндзя и спросил:

– В чем была твоя ошибка?

Я хотел ответить, что зря полез в дела взрослых, надо было сначала спросить у него разрешения или что я должен был учесть повадки жертвы и сделать не просто ловушку, а смертельную ловушку; еще мне хотелось заплакать от облегчения. Отец повторил вопрос. Я ответил, что сделал правильную ловушку, но неправильно выбрал место. Отец задумался, причем надолго: пока мы спускали тело ниндзя и оттаскивали его на главную площадь, он не проронил ни звука. Наконец, когда мы пошли домой, отец оглянулся на площадь, посмотрел на меня... и хмыкнул.

Мастер У улыбается, поднимает руки, как Брюс Ли, кричит: «Кияяя!» и швыряет в Элизабет бумажной салфеткой. Она отбивает ее ладонью и шипит: «Ф-ф-ф-т!» – с таким звуком в боевиках рассекают воздух руки, превращенные в смертельное оружие. Затем она скатывается со стула и бросает в меня подушку. Я нарочно не уворачиваюсь и делаю вид, что умираю.

– Он прикидывается! – смеется мастер У. – Его актерское гун-фу никуда не годится!

Мы успеваем вволю подурачиться, прежде чем приходит пора мыть чайник и расходиться по домам. К тому времени мы убеждаем себя, что ниндзя Мастера У – очередная глупая шутка, как манговое солнце и китайская космонавтика.

Я так увлечен своим маленьким мирком, что полностью пренебрегаю большим, и в итоге, когда приходит время искать работу или продолжать учебу, я совершенно не у дел. Остальной мир готовится к выпускному и университетам, а я опять плетусь в хвосте. Все последние сроки истекли, меня нет ни в одном списке. Элизабет едет учиться в какую-то глушь под названием Алембик – разумеется, позаботилась об этом еще в прошлом году. Именно она возвращает меня к реальной жизни, сердито топая ногой.

– Нет! – заявляет она.

– Я...

– Нет, ни за что!

– Но...

– Нет!

Она сверлит меня взглядом. Элизабет восемнадцать лет; она не бледная, не альбиноска и не суперблондинка скандинавских кровей – скорее, прозрачная, как глубоководное создание, и будто бы черно-белая. Удивительная цветовая гамма отвлекает внимание от ее лица, волевого и чуть широковатого; для *красивого* ему не хватает симметричности, для *хорошенького* – заурядности, поэтому Элизабет *эффектная*, возможно *привлекательная*, и совершенно точно *необыкновенная*. До сего дня мы разговаривали исключительно о Безгласном Драконе; теперь мы оба немного смущены и встревожены этой переменной. Элизабет хмурится.

– Ступай и поговори с моей матерью.

– Я...

Она грозит пальцем, точно кинжалом.

– Не вынуждай меня топтать ногами!

Тут я признаюсь, что понятия не имею, кто ее мать. Элизабет смотрит на меня так, словно у меня отросла вторая голова.

– Я Элизабет Сомс. Дочь Эссампшен Сомс.

Теперь ясно, кого она напоминает! И все же это очень странно, потому что Элизабет – моя ровесница и ни капли не сумасшедшая, а ее мать – директриса Евангелистка. Издаю булькающий звук.

Элизабет вновь буравит меня свирепым взглядом, пока я не соглашаюсь посоветоваться с родителями Гонзо, а если там ничего не выгорит, пойти к «Эссампшен». Тогда Элизабет целует меня в правую щеку и упархивает к мастеру У, сказать ему *au revoir*. Когда она закрывает дверь, у меня в груди рождается странное чувство, и я твердой походкой иду в резиденцию Любичей – обсуждать с ними мое Отправление.

Ученики школы Сомса не просто выпускаются: ее основателями были миряне рационалистского склада, которые сочли, что молодые люди, вверенные им для подготовки и обучения, не заканчивают учиться и не попадают в некое высшее царство взрослой жизни, а лишь продолжают поиски истины на новом поприще. По этой причине и еще потому, что Евангелистка считает все старое хорошим – можно подумать, бесконечное повторение делает обычай святым (в таком случае известные грехи, которые она строжайшим образом порицала, к этому времени уже должны быть искуплены и даже способствовать искуплению других), – выпускники не просто покидают школу, а Отправляются В Плавание и называются Отправленцами, что звучит вполне научно и невероятно возвышенно.

Я не чувствую себя Отправленцем. Больше изгоем. Мои сверстники готовятся поступать в престижные университеты и сидеть на шее у родителей или подрабатывать, чтобы платить за учебу. Они покупают новую одежду, собирают чемоданы и болтают на кодовом языке об общагах, курсачах, лабах и диссерах, о нулевой неделе и студаках. Если спросить их, что это такое, они смущенно умолкают: мол, раз ты до сих пор не знаешь, узнать уже не светит. Это как ночная пирушка, на которую можно прийти только со своим кексом – у меня нет ни кекса, ни формы для выпечки, ни кулинарной книги. А если б и были, все равно не хватит денег на муку.

Гонзо, естественно, получил стипендию и будет учиться на факультете землеустройства и сельскохозяйственной экономики Джарндисского университета. «Естественно» – потому что, хоть назначать стипендию на основании одних спортивных достижений строго-настрого запрещено, ФЗИСЭ зачем-то понадобились такие студенты, чьи умственные способности нельзя проверить традиционными методами, однако их умение быстро усваивать тактику и стратегию некоторых состязательных видов деятельности чудесным образом отвечает нуждам университета. Многие студенты ФЗИСЭ, увы, так увлекаются этим альтернативным использованием своих талантов, что не получают диплома вовсе, предпочитая ему карьеру профессиональных спортсменов. Ужасную потерю юных умов несколько компен-

сирует тот факт, что эти же несчастные становятся лучшими капитанами и звездными игроками университетских команд – дабы порадовать любимую альма-матер приятными пустячками вроде библиотек, новых корпусов и даже (единичный случай) картин Ван Гога.

Собеседование проходило в здании приемной комиссии, рядом с площадкой для регби, и после разговора о коровах (Гонзо продемонстрировал глубокое знание их пищеварительной системы и выразил надежду, что на пару с хорошенькой ученицей ветеринарной школы ему удастся найти средство от метеоризма и отрыжки, одолевающих университетское стадо с того дня, как он приехал в Джарндис), подзолах (Гонзо сказал, что всегда интересовался историей моды) и севообороте («В детстве матушка запрещала мне баловаться с едой» – от этих слов профессор Доллан едва не проглотил колпачок ручки, и ученого мужа пришлось унести) комиссии было предложено сыграть дружеский неформальный матч на полностью добровольной основе «преподаватели против абитуриентов», в котором гости разделили хозяев со счетом 73–14, причем все очки команде гостей заработал Г. Уильям Любич. После подсчета счастливых и несчастных случаев выяснилось, что посредством разрешенных, но чрезвычайно жестоких приемов Гонзо вывел из строя двух игроков команды преподавателей и сам получил значительные травмы, которые, однако, не помешали ему играть: небольшое сотрясение мозга, смещенный плечевой сустав, три рваные раны над левым глазом, два треснутых ребра, ссадины и синяки в ассортименте, по снятии футболки вынудившие физиотерапевта пригласить Гонзо в свой кабинет, где она уделила должное внимание его ранам.

Не то чтобы Гонзо не мог поступить туда, где надо работать головой. Он более чем способен. Просто для этого потребовалось бы больше усилий, чем ему хотелось или когда-либо нужно было прикладывать. Спорт куда проще химии и географии – двух предметов, которые ему нравятся и при желании отлично даются, – вот он и выбрал спорт. Я почему-то упустил из виду, какие вопросы должен задавать. И теперь, к собственному удивлению, иду в кабинет директрисы.

Прежде всего меня поражает, какой этот кабинет малюсенький и как мала сама Евангелистка. Через все ее аккуратные, пронумерованные, расставленные по алфавиту и категориям владения, через ручки, разложенные по цветам, и рулончики с клейкими звездами для отличных работ и черно-желтыми кружками «ТОКСИЧНО» для самых плохих я гляжу на непримиримую врагиню эволюции, заправляющую школой. Вдруг мне приходит в голову, что она очень похожа на макаку, но это столь пагубная (во многих отношениях) мысль, что я тут же ее отметаю и желаю Евангелистке доброго утра. Она сухо улыбается.

– Я хочу поступить в университет, – выдавливаю я, потому что ужасную правду Евангелистке лучше открывать как можно скорее, пока она не успела изойти едким остроумием. – Элизабет посоветовала обратиться к вам. Мы вместе учимся у мастера У. – Я не желал, чтобы Евангелистка подумала (тем более сейчас), что я путаюсь – физически, хотя контакт, необходимый для броска на пол и болевого захвата ноги, тоже можно назвать физическим, а учитывая близость переплетенных тел, которая внезапно обретает для меня сексуальный характер, я прямо-таки потрясен, что ни разу не покраснел или что мое тело не отреагировало на эту близость иным, менее двусмысленным образом, – с ее любимой (и заброшенной) дочерью.

Евангелистка отвечает не сразу. Вместо этого она откидывается на спинку стула и сцепляет руки колокольной. Поджимает губы, касается их указательными пальцами и закрывает глаза. Глубоко вздыхает, несомненно вознося молитву своему мстительному, капризному, деспотичному, суровому божеству. Затем бросает на меня хмурый взгляд исподлобья, достает из стола пачку сигарет («канцерогенных, нечестивых, обогранных кровью рабов и замаранных жижей порока и блуда») и одной рукой подкуривает ее от упитанной «Зиппо». Лихо засунув папиросу в уголок рта, Евангелистка делает глубокую затяжку.

– Хор-р-рошо, – наконец проговаривает Эссампшен Сомс, – я это устрою. – Она втягивает очередную порцию канцерогенного порока и выдыхает его на драконий манер, через ноздри. – Закрой рот, дружище, ты похож на почтовый ящик.

Очень может быть. До сего мига я был убежден, что каждый вечер Эссампшен Сомс ставит на стол лишнюю тарелку – для Бога, поет гимны в ванной (которую принимает одеждой, дабы случайно не пробудить в ком-нибудь похоти, как это ни маловероятно) и питается исключительно хрящами и овсянкой, опасаясь разжигания страстей. Недавно узнав, что ее дочь – стройная изящная девочка/женщина, с которой мы вместе оттачиваем смертельные приемы весьма сурового боевого искусства и которой, как и мне, некуда пойти, я вообразил себе их жилище: тихий склеп из серого камня и рогожи. Об обеде и ужине возвещает колокольный звон, а пол покрыт некрашеными сосновыми досками – каждое утро Элизабет должна тереть их наждачной бумагой, чтобы они не приобрели бесстыжего засаленного блеска. Я полностью поверил в образ, созданный Эссампшен Сомс. И, по всей видимости, ужасно сглупил.

Я закрываю рот, но не знаю, как отнестись к этому вопиющему противоречию, и начинаю подозревать, что Евангелистка нарочно придумала для меня такое изощренное испытание – с целью выяснить, достоин ли я поддержки ее Церкви в годину трудностей и перемен. Знакомая мне Евангелистка прямолинейна самым хитрым и окольным образом, как невидимая дубина, как компьютерный шахматист, просчитывающий возможные последствия каждого хода. Манипулируя людьми, она действует в открытую, играет даже на своих неудачах и из всех виражей выходит победителем. Я поостерегусь доверять ее новой личине.

Эссампшен какое-то время сверлит меня злобным взглядом, потом стряхивает пепел в пепельницу в форме херувима и нетерпеливо ерзает на стуле – до меня вдруг доходит, что она ждала этого момента.

– Хочешь, расскажу историю?

Осторожно киваю. Стул подо мной – тот самый, на котором я потерял веру в Бога: от него разит одиноким переосмыслением. Я нашел дружескую поддержку там, где меньше всего ожидал: мы со стулом переоцениваем свои отношения. Это куда безопасней, чем переоценивать отношения с Евангелисткой, которая явно не в себе. Того и гляди начнет брызгать пеной или горланить похабные песенки. Она вновь ерзает, устраиваясь поудобнее на мягком сиденье – *роскошном* сиденье, а не набитом камнями и лезвиями, как мне представлялось. Удовлетворенная положением своего зада, Эссампшен Сомс начинает рассказ – эдакую притчу:

– Как-то ночью в глухом лесу сбивается с дороги один путник. У него есть пес, но пес, по собачьему обыкновению, не может решить, в какой стороне дом. Или они едут в машине, и он просто не знает. В общем, когда путник окончательно и бесповоротно теряется в чаще, перед ним появляется развилка. С верным псом ему бояться нечего, но все-таки *очень* хочется домой. – Евангелистка рисует сигаретой маленький кружок в воздухе. – Поэтому путник страшно рад, когда видит на развилке постоялый двор, где можно спросить дорогу. Ну отель или бар. Постоялых дворов нынче не бывает, верно? Словом, заходит он в отель. Местечко скверное, с опилками на полу и прочими прелестями. Из тех, куда *тебе* лучше не заходить. Ясно?

Киваю.

– А за барной стойкой сидят три старые карги, такие древние, что за морщинами глаз не видно. Хмм?

Опять киваю. Впервые в жизни у меня возникает чувство, что мое согласие и участие в беседе – важная часть задуманного Евангелисткой плана, и от этого новшества мне не по себе. Эссампшен Сомс, однако, всю снимает напряжение с мышечных групп, будто ее

выдернули из розетки: машет руками, притопывает ногами и тычет сигаретой в воздух, когда нужно поставить жирную раскаленную точку в важном месте.

– Итак, наш путник подходит к старухам и любезно спрашивает, как ему попасть домой. Самая древняя – она сидит посерединке – хватается себя за лоб, раздвигает морщины и, злобно глядя на путника, заявляет, что *большие не отвечает на вопросы!* – Эссампшен Сомс бьет по столу рукой, а ее голос на мгновение становится скрипучим, дремучим и зловещим. – Она указывает на своих сестер и добавляет, что *одна из них всегда говорит правду, а вторая всегда лжет, и ответят они только на один вопрос!*

Стало быть, вопрос надо придумать особый. К счастью, наш путник – Эвандр Джон Сомс из Криклвудской Лощины – учитель. Он умеет задавать правильные вопросы. «Хорошо, – говорит доктор Сомс, поворачиваясь к старухе, которая сидит ближе к бутылке с джином. – Тогда отвечайте: какая из дорог, по мнению вашей сестры, приведет меня домой?» Доктор Сомс дружит с логикой и знает: если перед ним честная сестра, она укажет неправильный путь, потому что лгунья выберет именно его, а если он говорит с лгуньей, то правильный путь (указанный честной сестрой) она назовет неправильным. Таким образом, путник в любом случае должен выбрать не указанную дорогу, а другую. Карга советует ему идти на юг, и путник отправляется на север.

Эссампшен Сомс вновь затягивается и морщит лоб, глядя на меня через стол. Будет очень неприятно, если это конец истории, однако в тишине я улавливаю приглашение к участию в беседе. Я озираюсь по сторонам и спрашиваю:

– Он вернулся домой?

– Нет.

– Что?

– Нет. Он не вернулся к жене и ребенку. Пес тоже не вернулся. Доктор Сомс пошел на север, где его поджидали сыновья и дочери трех старух, *антропофаги*.

– Э-э...

– Каннибалы. Людоеды с собаками – увы, тоже людоедами. – Она склоняется над столом. – Они приготовили из Сомса пирог и жили долго и счастливо, пока их не сгубила страшная болезнь куру. Или морские пехотинцы. Ну, какова мораль истории?

– Не сходи с пути.

– Нет! Единственная мораль этой истории звучит так: каннибалы тоже могут дружить с логикой, и если ты когда-нибудь решишь сойти с дороги, то не стоит доверять первой жуткой старухе, заговорившей с тобой в общественном месте. «Одна моя сестра лжет, а другая говорит правду!» Что за вздор! Ради всего святого, почему он не спросил бармена?! Или не пошел назад? Дурак он был – вот почему! – Евангелистка вздыхает.

Я вновь поправляю челюсть, стараясь хоть немного сомкнуть губы и не походить на коробку для чая. Директрисе должно быть более или менее очевидно, что я понятия не имею, зачем она мне это рассказала и что здесь творится: может, я спятил, или спятила она, или сам дьявол подменил ее хозяйкой новоорлеанского борделя? Она делает круговое движение руками – призывный жест, который я помню из ее редких вмешательств в образовательный процесс, означающий: «*Думай*, мальчик, Господь подарил тебе серое вещество не только для балласта». Отвечаю в своем репертуаре: полным надежды иком. Наступает смиренная тишина.

– Твой приятель Гонзо, – говорит Эссампшен Сомс, – никогда не сходит с пути. Он делает все сообразно ему, и путь сам приводит его куда нужно, потому что Гонзо – душа. Сейчас ты сидишь в моем кабинете и не можешь понять, почему всегда видел во мне только спятившую на Библии училку или почему, черт подери, я мучила тебя целых четырнадцать лет, и вот ответ: потому что я очень хорошо умею врать. Это единственный способ преподавать вам знания, которые вам нужны. Родители не хотят, чтобы их дети знали то, что *нужно*.

Пусть лучше они знают то, что *должно быть нужно*. Учитель постоянно борется со взрослыми, наивно полагающими, будто мир станет лучше, если *вообразить* его хорошим. Хотите учить детей сексу? Ладно, но пусть они сначала подрастут. Желаете говорить о политике? Только не о современной. О религии? Валяйте, главное, не больно-то задумывайтесь о вере. Иначе однажды в твой дом ввалится разъяренная толпа и спалит тебя к чертовой матери, как ведьму! Короче, в этом городе злая старуха, указывающая всем, что можно и нельзя читать, – я. И, черт возьми, я имею право нанимать кого угодно – пусть свергают мою тиранию, пусть рассказывают вам об эволюции, свободе слова, культурных предрассудках и всем остальном. А делаю я это потому, что рано или поздно ты *сойдешь* с дороги, как бы ни хотел по ней идти. И когда это случится, ты должен быть готов! – Эссампшен Сомс поникает и бормочет: – Дурак он был, вот почему... Ладно, я устрою тебя в Джарндис. Ты ведь туда хочешь?

Да, туда. Евангелистка что-то записывает, и мы, утомленные, сидим молча: она спрашивает себя, удалось ли ей до меня достучаться, а я спрашиваю себя, можно ли ей доверять, и мы оба стыдливо, украдкой спрашиваем себя, обзавелись ли мы сегодня новым другом, и что будет, если протянуть руку: станет ли смешно и чуть-чуть больно, прежде чем мы вновь захлопнем ставни. А потом (я так и не научился бросать начатое, особенно если дела идут хорошо) я спрашиваю, правдивая ли была история.

Эссампшен Сомс отвечает не сразу. Она вновь складывает руки церковной колокольней, делает глоток чистого воздуха и задумывается. Затем решительно гасит папиросу и резко втягивает живот, как перед прыжком в воду с самого высокого трамплина.

– Нет, – говорит Эссампшен Сомс, – правда в том, что доктор Сомс уговорил каннибалов его отпустить. С одним условием. Он позвонил с их телефона в несколько служб техпомощи и такси, а те направили в деревушку своих сотрудников, которых каннибалы убили, приготовили и подали с яблоками на большом пиру, где доктор Сомс скармливал кусочки электротехников злобным псам-людоедам, сидевшим под столом, и своему псу тоже, а потом этот сукин сын вернулся домой и умер здесь от куру. Даже пес умер: одной злобной псине захотелось десерта. – Она пожимает плечами. – Проваливай, мне надо сделать несколько звонков. И приглядывай за моей деткой.

Я бы приглядывал, будь это нужно Элизабет. Эссампшен Сомс машет мне на прощание.

Я иду к Гонзо и сообщаю ему радостную весть, а он в ответ испускает дикий вопль и бьет себя кулаками в грудь, потому что в автокинотеатре показывают «Гарзана», и Белинда Эпплби прониклась пылкой страстью к Джонни Вайсмюллеру, так что Гонзо хочет быть максимально на него похожим, когда сегодня вечером встретится с ней в «Кричтонс Армс».

– Но, – говорит он, небрежно поднося палец к губам. Я хорошо знаю это его «но»: предварительное «но» великих свершений и поистине ужасных затей. «Но» героизма на двоих и комических дуэтов с договариванием предложений друг за друга (такой дуэт и представляет собой наша дружба). – Но мы *обязаны* туда съездить и все посмотреть.

Я сразу понимаю, что это значит, и спрашивать не надо. Это значит, что мы – с Белиндой Эпплби и любой из ее уступчивых женственных подружек, которые окажутся рядом, когда мы заявим о своем великолепном плане, – погрузимся в чью-нибудь тачку (скорее всего, в капризный внедорожник Ма Любич с помятой решеткой и приземистым силуэтом рабочей лошади) и поедem проверять, действительно ли на перепутьях Криклвудского Болота живут людоеды. Когда людоедов там не окажется, мы спугнем парочку жутких сов, увидим барсука, девушки вкусят столько безопасного ужаса, сколько смогут, и мы дисциплинированно отправимся в наш общий укромный уголок, где предадимся сладострастным утехам частного характера с юными и неумными представительницами слабого пола.

Вот так я и оказался рядом с Гонзо Любичем в его машине. Лицо Терезы Холлоу возле моего уха, а ее пальцы на каждом ухабе легонько и якобы случайно царапают мне шею, – вот только всякий раз, когда я направляю луч тяжеленного фонаря на подозрительную тень,

Гонзо завывает, а девчонки вздрагивают, хохочут и бьют его кулачками, рука Терезы возвращается на то же место, от чего все волосы на моем теле встают дыбом. Горячая волна, идущая от этой единственной точки соприкосновения, пробегает по всему телу и превращается в приятный пульсирующий узел где-то между коленями и сердцем.

Ночь не такая уж и жуткая. На дворе лето, тумана нет, всюду мычит и урчит скот, на юге горят огни и ездят машины. Где-то в океане на борту лайнера наверняка играют в шаффлборд: престарелые развратники бросают ключи от своих машин в шляпу, надеясь провести ночь ходунковой любви с победительницей (их не постигнет разочарование, поскольку круизные компании с неизменной тактичностью заботятся об удовлетворении клиентских интимных нужд; однажды я целый месяц занимался подгонкой путевок – нелегкая задача, если учитывать морскую болезнь, частые отказы в последний момент и каталепсию, но у компании была специальная формула, и работу мы таки сделали). Увы, тумана нет и в помине, леденящие кровь вопли отсутствуют, хотя где-то на другом берегу реки заходится в яростном лае собака. Гонзо приоткрыл окна, чтобы запустить назад немного прохладного воздуха и тем побудить девушек двигаться ближе к мужественным обогревателям на передних сиденьях, что они охотно и делают.

Пальцы Терезы как раз забираются под прошитый двойным швом воротник моей футболки, когда мы поворачиваем за угол и действительно видим перед собой постоянный двор, выжженный, обветшалый и увитый плющом. На карте он не значится, вывески тоже нет. Если не приглядываться, увидишь только деревья да несколько досок за ними, но мы-то *приглядываемся* – фонарь выхватывает из темноты дверной проем и лестницу, а Белинда Эпплби, гореть ей в тысяче геенн, бормочет: «Мы ведь туда не пойдем?» – пальцы Терезы каменеют на моей шее, и она затаивает дыхание. Всем понятно, что ответ может быть только один.

– Конечно, пойдем, – говорю я, потому что Гонзо уже тормозит машину. Тереза тихо выдыхает – не знаю, восхищенно или испуганно.

Тишина не должна пугать. В тишине слышно любой звук – даже собственное сердцебиение и дыхание, ведь ты прислушиваешься к тому, чего нет. Когда Гонзо останавливается на перепутье, вовсе не тишина вступает в свои права, а отчетливый гул жизни. Сотни разных дел творятся в ночи: пищат крошечные грызуны, хлопают крыльями охотящиеся за ними птицы; шепчет и шуршит на ветру кустарник; кабаны скребутся клыками о стволы деревьев, стряхивая плоды – те падают наземь со звуком крадущихся шагов. Большие млекопитающие ловят и едят маленьких. На другом берегу по-прежнему надрывается собака, а голоса флиртующих пенсионеров просачиваются сквозь песок, деревья и отдаются мягким эхом в лесу. Что-то трещит и хрустит. Терезины шпильки утопают в торфе, Белинда прижимается к Гонзо. Я медленно повожу фонарем из стороны в сторону, вглядываясь в каждый метр темноты – не блеснут ли глаза или хищная улыбка. Нет, людоедов здесь нет и никогда не было, а если были, то все умерли. Вместе с питомцами. Я ни капли в этом не сомневаюсь. Ни чуточки. Вообще.

Гонзо ведет нас внутрь.

Пыль и грязь, тряпье и треснувшие зеркала, бутылки разбитые и полные бесцветного спиртного. Зал небольшой, голые стены покрыты трещинами и тенями. Тяжелый мускусный дух зверей. Посреди комнаты кто-то жег костер, курил и пил, но не то, что нашлось в баре, а свое – видимо, предыдущая экспедиция. До войны сюда мог приезжать Маркус.

Мы осматриваемся. Дерево. Линолеум. Дешевые стулья. Гонзо пишет свои инициалы на пыльной барной стойке, победно улыбается – *veni, vidi, vici* – и идет к выходу. Из темноты доносится низкий вибрирующий рык. Нечеловеческий. Хищное, опасное, суровое урчание. Оно ударяет в подкорку и словно говорит: «Дерись или беги». Мы оборачиваемся.

В дверях стоит чудище: огромная страшная псина. Голова с баскетбольный мяч, в пасти чересчур много зубов. Нелепо думать, что это пес-людоед или потомок тех людоедов. Перед нами явно бойцовая тварь – с такой ходят на медведей, участвуют в собачьих боях или еще что покруче, пока она не оттяпает хозяину руку и не убежит охотиться за дикими лошадьми на вересковых пустошах. У подобных псин очень развит инстинкт защиты своей территории, и они наверняка с удовольствием селятся в заброшенных барах. Я загораживаю собой Терезу. В ответ на мое движение пес поворачивает голову в нашу сторону, и я успеваю подумать: «Вот дерьмо!» – прежде чем он прыгает.

Я умею уворачиваться, но с Терезой за спиной не больно-то увернешься, а злобная псина похожа на огромную черную торпеду. Я все равно вскидываю правую руку ладонью вверх и молю Бога, чтобы так давали о себе знать уроки мастера У, а не паршивый рефлекс из разряда «я твоя добыча, откуси мне голову». В следующий миг передо мной возникает широкая спина Гонзо: он упирается ногой в пол и ловит пса на лету. Зверь щелкает пастью и бьет ему в грудь задними лапами, но Гонзо хватает его за передние и резко разводит их в стороны. Трапециевидные мышцы Гонзо напрягаются и опадают, слышен треск собачьих ребер, мучительный вопль, и псина падает наземь.

Когда Гонзо оборачивается, его лицо искажено гримасой отвращения, которую позволено видеть лишь мне, и тут же улыбается привычной, повседневной улыбкой – не сделай он этого, Белинда точно бы грохнулась в обморок от ужаса.

– Сдается, нам пора домой, – говорит он и неторопливо выходит на улицу. Белинда идет следом, Тереза тоже. Я оглядываюсь на чудище: смог бы я его перекинуть или оно бы меня загрызло? Тут я замечаю, что пес не издох. Он не шевелится и не готовится к атаке, скоро он умрет, но пока жив. Гонзов противособачий прием, почерпнутый из книжек о выживании в экстремальных условиях, неиспытан и несовершенен. У пса должно было разорваться сердце, однако этого не случилось. Гонзо не довел дело до конца.

Черные глаза смотрят на меня с упреком, пока я иду к двери. Пес начинает скулить: едва слышно, отчаянно. Такой звук может исходить от собаки, которой доверяешь собственных детей, которая приносит тебе тапочки по вечерам и таскает в зубах котят – без задней мысли перекусить им шею. Его никак не может издавать тварь, пытавшаяся прогрызть тебе дырку в груди. Я вновь оборачиваюсь на пса. В его позе ясно читается боль и беспомощность. Он дергается, сопит и вытягивается, показывая клочок белого меха на шее. Если и существует язык, который понимают все млекопитающие, то это язык боли. Вопрос первенства решен, но вопрос пощады остается открытым. Я должен закончить начатое Гонзо.

Подхожу ближе, готовясь услышать свирепое щелканье пасти. Увы, пес молча ждет. Я оказываю ему единственную помощь, на какую способен, и ухожу в темноту, стараясь облегченно улыбаться.

Этой ночью Гонзо не спит с Белиндой Эпплбл. Она слишком напугана, а у него до безобразия расцарапана грудь. Белинда обрабатывает ему раны, но настаивает на отсрочке близких контактов. Я отвожу Терезу в свою комнату и, пока она в ванной, делаю себе на полу лежанку из подушек. После Терезы в душ иду я и провожу там больше времени, чем необходимо, пытаюсь смыть с себя дух умирающей псины. Когда я возвращаюсь в комнату, моя постель аккуратно свернута, а Тереза лежит под единственной простыней, ни в коем разе не скрывающей ее наготу. Мы прилежно испытываем на практике приемы, которым научила нас мисс Пойнтер. Ни для меня, ни для Терезы это не впервые, но прежде я не испытывал такого беспредельного, томного, выгибающего спину удовольствия. Быть может, дело в страхе и опасности, но и в некотором духовном родстве: я тень Гонзо, а Тереза – тень Белинды. О продолжении отношений и речи быть не может. Утром мы расходимся по своим делам.

До самого конца завтрака мы с Гонзо не заговариваем о псах-людоедах. Наконец я не выдерживаю и признаюсь, что без Гонзо бы точно пропал. Он пожимает плечами и отвечает, что без меня бы вообще туда не полез. Я недоуменно пялюсь на него.

– Ты же первый начал тормозить!

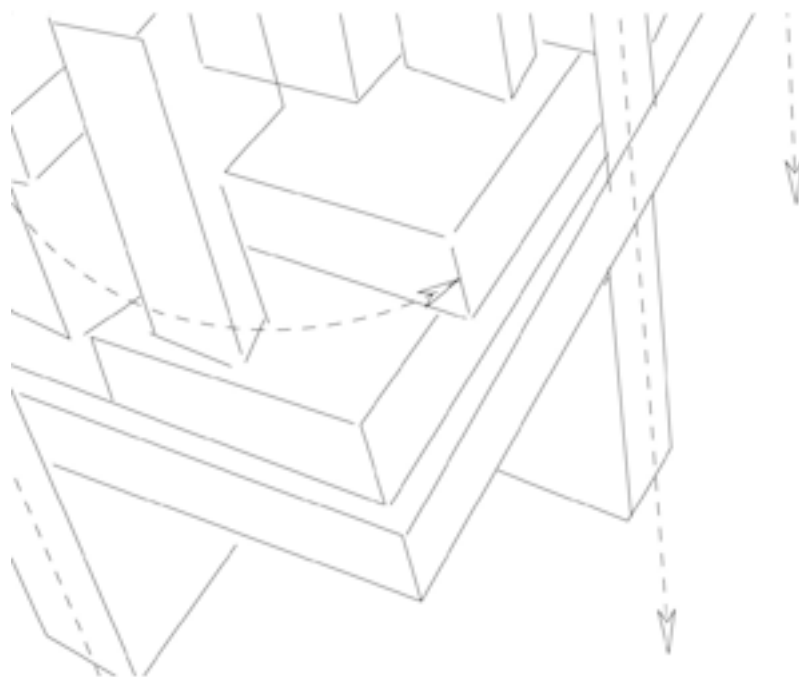
– Я разворачивался, – отвечает Гонзо и внимательно смотрит на меня. – Никогда бы... – Но я уже покатываюсь со смеху: оказалось, мы оба не хотели идти в бар, однако пошли, увидев решимость друг друга. Свирепый рык твари стирается из моей памяти. Я говорю Гонзо, что он спас мне жизнь, а он с улыбкой отвечает: «Как знать». И мы плетемся домой.

После обеда мне звонит – надо отдать должное Евангелистке – доктор Фортисмир из Джарндисского университета и с восторгом сообщает (у него действительно восторженный голос; прежде чем я успеваю себя одернуть, мне приходит в голову мысль, что они с Евангелисткой любовники, и мое поступление было куплено негласным обещанием плотских утех, от чего я прихожу в ужас, на миг вообразив и спешно выкинув из головы сцену их совокупления), что меня выбрали участником новой учебной программы «Кадриль», целью которой является сближение гуманитарных и научных дисциплин, для чего учреждается особая степень доктора сводных наук. Судя по голосу, доктор Фортисмир относится к числу неугомонных изворотливых толстяков, убежденных, что мужские достоинства надо проявлять на охоте, рыбалке и прочих мероприятиях из разряда «увеселительных». Свою речь он сдобривает фырканьем и смешками – мол, и он когда-то был молод, а сердцем и некоторыми другими органами молод до сих пор. «Кадриль» будет включать четыре направления (потому ее так и назвали): I. искусство и литература; II. история, история науки и антропология; III. физика и математика; IV. химия, основы медицины и биология. В лучших традициях автодидактики Просвещения, только без «авто-». В течение четырех лет я должен буду ходить на лекции и по возможности не увлекаться (*фырк, хихиканье*) пирушками, танцами и прежде всего (*хо-хо, мой мальчик, мы оба понимаем, с каким прилежанием ты будешь исполнять этот наказ*) любовными шашнями, каковые (*губительны для рассудка, пленительны для сердца*) зачастую приводят к низкой успеваемости и душевным травмам. Тут доктор Фортисмир выжидающе замолкает, я говорю ему «Спасибо», и он смеется так оглушительно, что трубка искажает сигнал. Затем мне советуют запастись теплыми вещами, поскольку в Джарндисе по ночам бывает чертовски холодно, если тебя некому согреть (*хе-хе-фырк!*). Я заверяю его, что непременно об этом позабочусь, а сам думаю, что попал из рук одной странной личности под опеку другого, не менее странного типа.

Итак, впереди универ!

Глава III

Учеба в университете; секс, политика и последствия



Человека, голова которого привлекла мое внимание, зовут Филипп Айдлвайлд, хотя мне он известен (уже больше часа) как почетный ректор Айдлвайлд, доктор философии, профессор греческого и номинальный глава Джарндиса. Этим ветреным октябрьским вечером небо сине-серого цвета, воспетого художником по имени Пейн. Тут и впрямь бывают такие дни – сегодня один из них, – хотя обычно мои родные места (с одной стороны ограниченные Криклвудскими Болотами, с другой – университетом Джарндиса) нежатся в мягком климате, идеально подходящем для теплолюбивых растений и игривых короткошерстных собак. Сегодня же шквальный ветер приносит с океана запах соли, пены и гудрона с басовой нотой разложения: чайки клюют плывущую по двадцатиметровым волнам тушу огромного морского зверя. Прекрасная ночь для юноши – можно сорвать рубашку, испустить радостный вопль и бежать, кожей чувствуя влагу и не боясь простудиться. В такую ночь вино и виски льются рекой, огонь ревет в камине, и дикий танец найдет тебя в объятиях красотки или в кругу новых закадычных друзей.

Увы, я на торжественном ужине. Я зашел в свою комнату (будьте любезны, никаких «конур» и «каморок», даже «жилище» не приветствуется), открыл чемодан и достал из него музыку – больше распаковывать было нечего. Потом сразу отправился на Матрикуляционный Ужин, первое из бесконечного списка традиционных мероприятий, на которые лучше не являться. Впрочем, об этом пока никто не знает, и все первокурсники вынуждены глазеть на лысину Филиппа Айдлвайлда, мысленно спрашивая себя: эти шершавые бледные хлопья, облетающие с его головы всякий раз, когда он проводит рукой по двум-трем оставшимся волосинам, – заразная болезнь, безобидное следствие преклонного возраста или остатки супа, в который он ненароком окунулся за обедом?

Профессор Айдлвайлд не может говорить иначе как в горизонтальном положении или, по крайней мере, не приведя в оное положение голову. Желая подчеркнуть какую-то мысль,

он выкручивает шею в твою сторону, точно бойкая пестрая сова, кивает, и сквозь морщины на его глотке проступают сухожилия; однако чаще всего он обращается с выпренными речами к патине на обеденном столе. Вертикальный разрез почетного ректора Айдлвайлда (начатый с линии симметрии промеж глаз среднестатистической человеческой особи) наверняка явил бы взору искаженные внутренние органы и кости, застывшие в форме вопросительного знака, что поразительным образом не соответствует речевым повадкам человека, изъясняющегося одними восклицаниями. Когда лакей (между прочим, аспирант, работающий над теорией разрешения индустриальных конфликтов) приносит рыбу, Айдлвайлд, обрушив в масленку шквал отмершего эпидермиса или грибковых спор, марионеточными рывками поворачивается ко мне.

– Мистер Любич! Добро пожаловать в Джарндис. Мне сказали, что впереди у нас великие победы. – Он улыбается. – Прошу вас, кивните своим преподавателям из ФЗИСЭ, они будут вне себя от радости!

До меня доходит, что надо прояснить ситуацию: я не Гонзо. Так и поступаю. К моему удивлению, ректор одаряет меня горизонтальной улыбкой.

– Любезный друг, покорнейше прошу меня извинить. – Он на миг задумывается. – Стало быть, вы другой!

Ага. Конечно. Из всех присутствующих в зале студентов я – другой. Айдлвайлд широко улыбается и поворачивается к своему прежнему собеседнику. Ищу взглядом Гонзо, чтобы его возненавидеть, и нахожу друга в самом унылом и молчаливом расположении духа. Он сидит напротив, в двух стульях от меня. Справа – ослепительно-красивая девушка, искренне увлеченная беседой о кристаллических структурах с парнями напротив, а слева – строгая леди по типу Евангелистки, которая в начале ужина во всеуслышание заявила: «Я доктор Изабелл Лэмб, и я терпеть не могу привлекательных юношей». Неясно, правда ли это (подозреваю, что нет, и Гонзо должен был ответить на брошенный вызов), но слова докторши его задели, и он попросту вычеркнул ее из своего мира. Она сейчас разлагольствует с другим соседом о катастрофических обрушениях висячих мостов, а Гонзо почти отключился. Без восхищенной публики он вынужден заглядывать себе в душу, чем он и занимается, однако среди шума и дружелюбной болтовни это нелегко. Со своего места я помочь не в силах, зато могу вмешаться в беседу, идущую слева от меня, и вывести ее в более многообещающее русло, где Гонзо даст волю своему очарованию и наконец уберет с лица ужасную кретинскую мину. Когда мы уезжали, Ма Любич не наказала мне приглядывать за ее сыном. Старик Любич, подбросив нас до вокзала, не возложил на меня бремя отцовской заботы и поддержки. Ничего такого они не сделали, потому что в этом не было нужды. Я прекрасно знал о своих обязательствах. Минуту спустя я прошу соседа передать мне соль и заодно интересуюсь, чем порошковая соль отличается от кристаллической и почему никто не использует ее для готовки. Тут же разгорается увлекательная беседа, профессор Айдлвайлд вновь жаждет моего внимания, а Гонзо болтает о пряностях с ослепительной красавицей. Речь Айдлвайлда принимает форму лекции, и я обдумываю свою новую жизнь в новом мире, стараясь не есть маленькие частички профессора, которые падают мне в тарелку.

Университет Джарндиса не велик и не молод. Его полное название выглядит так: «Jarndice – Hoffman Metanational Wissenschaft- u. Kulturschule»², благодаря чему можно заключить, что хоть мистер Джарндис и был англичанином (слово это использовано из соображений краткости, на деле же его генетическое наследие включало ДНК воюющих англов, норманнов, саксов, ютов, пиктов, кельтов, ирландских крестьян, потерпевших кораблекрушение католических испанцев, беглых евреев испанского происхождения и чудных испанских мавров, а также меркантилистов-бургундцев, викингов, буйных готов, мрачных фла-

² Метанациональная школа наук и искусств Джарндиса – Хоффмана (нем.).

мандцев и некоторых заезжих мадьяр), его партнер был чистокровным немцем (то есть тевтоно-татаро-тюрко-руско-ашкенази-франко-пруссак). Эти двое решили основать высшее учебное заведение, в котором не было бы места не только ученым раздорам, но и лютым национальным распрям. Посему «Наипаче Важные Указы» (помимо прочего, они предписывали студентам жить в пределах мили от Джарндисской библиотеки, однако в 1972-м году, когда лектории и спортивные площадки заняли почти все означенное пространство, исполнять этот декрет стало затруднительно, и мило заменили лигой, равной трем английским (а не международным) морским милям, то есть 5,55954 вместо 5,556 км – уточнение было призвано почтить национальную принадлежность Пэлгрейва Джарндиса (хоть и презиравшего патриотизм в любых его формах), а теперь с пользой служит для напускания тумана и позволяет всем жить, где вздумается) предписывают каждому прибывшему в Джарндис, независимо от его умственных способностей, торжественно поклясться, что отныне он будет «постигать науки сообразно надлежащим правилам и благонравию, споспешествовать миру и согласию, а все магистры будут зело радетельно слушать друг друга и не исполняться чрезмерно гордостью». Как следствие Джарндис стал полем для непримиримой университетской грызни и безудержного политического экстремизма. Кроме того, злопыхатели и матрикулаты (первокурсники) прозвали его «Наипачами» (ссылаясь на название университетского устава), хотя «наипаче» – всего лишь устаревшая форма «особенно», как терпеливо объясняет ректор каждому студенту, сидящему рядом с ним на Матрикуляционном Ужине.

Сегодня рядом сижу я и, вместо того чтобы до безобразия напиваться, потею во взятой напрокат синей бархатной мантии с серебряной окантовкой, которая царапает шею и пахнет престарелой кошкой. Вырядившись как недоделанный Полоний, я, однако, слишком часто сиживал за столом в доме Любичей, чтобы грубо прервать поток следующих одна из другой историй о Великом сдвиге гласных и упадке классического образования, начавшемся еще во времена императора Адриана. Я терпеливо жую тушеную говядину, улыбаюсь хорошенькой девушке напротив и жду, пока пыл профессора Айдлвайлда поутихнет. Это случается, когда приносят десерт, и не постепенно, а сразу: он умолкает, вздрагивает и утыкается в стол, будто ищет на нем какую-то определенную часть своего эпидермиса, которая может понадобиться ему в будущем. Его нос скользит по полировке, оставляя на ней два неровных запотевших следа, – неровных, потому что его голова по-прежнему чуть повернута в мою сторону. Руками он хватается за край стола. Я кошусь на хорошенькую девушку, однако ее лицо выдает лишь то же недоумение, что наверняка читается на моем. Меня осеняет, что профессора Айдлвайлда, очевидно, хватил или вот-вот хватит удар, при этом я понятия не имею, как определить, на самом ли деле это так. Еще я не рад, что ректор вздумал преставиться именно теперь, на глазах у меня и всех остальных, чем неизбежно оставит след в моей психике – вообразить страшно, какой именно след.

Профессор Айдлвайлд в облаке перхоти резко откидывается на спинку стула и выпрямляется, как штык, глядя в пустоту. Булькнув, он сворачивается в клубок, скрючивает пальцы и выпускает то ли лай, то ли вой. Ректор либо умирает, либо в него вселяется злой дух; первое было бы трагично, хотя, признаться, немного странно, а вот второе вынуждает задуматься, какое божество могло избрать своим посредником и фактически лицом высоколобого зануду с несерьезной, но омерзительной кожной болезнью и грибной вонью изо рта. Я в некотором потрясении оглядываюсь по сторонам в поисках какой-нибудь подсказки, однако никто и не смотрит на ректора. Это полное безразличие – со стороны сотрудников Джарндиса, по крайней мере, поскольку всем новеньким за столом тоже не по себе, – наводит на определенные мысли. У лакея, стоящего рядом, лицо совершенно невозмутимое, хотя его начальник сейчас с размаху дергает себя за уши – при этом достигается эффект летучей мыши, вынесенной на яркий свет. Я прихожу к выводу, что такие припадки случаются у ректора Айдлвайлда регулярно, и вежливее всего не обращать на них внимания. Видимо, именно из соображе-

ний вежливости нас не предупредили об этом сразу и не пытаются успокоить теперь, хотя в любой миг кто-нибудь может броситься на помощь ректору. Я благодарю небеса, что рядом посадили меня, а не Гонзо, который, заметив неладное, порывался сделать профессору трахеотомию, однако врожденный ум вовремя подсказал ему, что я неспроста сижу без дела. Таким образом, я избавлен от удовольствия наблюдать, как он бежит по дубовому столу, сшибая фарфор девятнадцатого века, и втыкает именную серебряную ручку времен зарождения «Искусств и Ремесел» (поздние 1890-е, добротный, но не слишком привлекательный ввиду многочисленных вмятин и царапин образец) в шею профессора Айдлвайлда, дабы восстановить свободный доступ воздуха в его дыхательные пути.

За всей этой суетой я, как Грязный Гарри, забываюсь и случайно заговариваю с хорошенькой девушкой напротив. Выясняется, что ее зовут Бет, она из Херрингбона и только-только бросила своего парня, украдкой встречавшегося с танцовщицей по кличке Сапожок. Когда профессор Айдлвайлд приходит в себя и вмешивается в нашу беседу, я даже умудряюсь частично ответить для себя на непростой вопрос: о чем мы с Бет будем разговаривать на свидании, которое состоится через пару дней? Разумеется, о политике.

Политика в Наипачах пользуется большой популярностью. Это не только тема, глубоко презираемая руководством, но и повод для оживленных дебатов, пылких громких споров и отстаивания чудовищно необоснованных позиций. Следовательно, политика идеально подходит для выпендрежа и борьбы за превосходство. Самая горячая тема дня – проблема Аддэ-Катира.

Аддэ-Катир – маленькая страна, соседствующая с несколькими большими. Климат здесь одновременно умеренный и тропический, всюду яркие краски, буйство природы и изобилие. Вдоль горного хребта тянется большая цепь озер (самое крупное из них, озеро Аддэ, широко известно своей водой, много лет считавшейся последним словом в заваривании чая), а помещается этот плодородный интерьер в уютных стенах Катир, давших название стране, – они отходят на восток от Гималаев, ласково обнимая озеро Аддэ и его меньших братьев, точно решили оставить их себе.

С политической точки зрения Аддэ-Катир лучше всего описывает слово «разоренная». На свете много неблагополучных стран, но эта разрушена до основания. Никаких этнических конфликтов тут нет – в основном благодаря удивительной истории создания Аддэ-Катира. Здесьний народ произошел от мыслителей самых разных кровей, которым надоела бесконечная череда жестоких войн и перемирий на их роинах (равно как и странный запрет на спиртные напитки, установленный занудами от буддизма, ислама, христианства, индуизма, а также других сект и культов, налагавших религиозные вето по принципу «за компанию»). Словом, они ушли из Китая, Тибета, Пакистана, Индии и отправились в Катиры, дабы найти там убежище и, откровенно говоря, наклюкаться. У берегов озера Аддэ они обнаружили, что все коренное население погибло от эпидемии краснухи, к которой у пришельцев был иммунитет.

Попав на все готовенькое, они стали как можно справедливее делить обширные земли, а потом как можно смиреннее на них жить. Предводителем избрали одного знатного человека, изгнанного из дома за неизвестные, но не слишком тяжкие грехи. Ему велели не доставать попусту своих подданных – вот он и не доставал, как потом не доставал его сын, внук и так далее. Традиция дружелюбного безразличия к делам простого народа жива в Аддэ-Катире по сей день. Языки первых жителей с годами перемешались, гены тоже, и спустя несколько веков они вовсе забыли, что откуда-то пришли. Потом, как и следовало ожидать, Аддэ-Катир завоевали англичане. Они посмотрели на местную инфраструктуру и постановили, что катирцы могут жить под каким угодно флагом, пока им это позволено. Скучающие леди и пресыщенные жизнью джентльмены какое-то время гоняли соблазнительных катирок

по деревянным лестницам и натертым до блеска верандам, чем, в сущности, и ограничилось Империалистическое Иго (ах да, еще английский объявили вторым государственным языком). Осуществление колониального проекта – не самое приятное занятие, если аборигены живут так хорошо, что предлагать им перемены даже неловко. Когда в 1947-м англичане покинули страну, в Аддэ-Катире ненадолго поднялись волнения: картель торговцев опиумом пыталась воспользоваться здешними водными путями для перевозки товара, однако реакция местных жителей была столь выраженной и недвусмысленной, что наркобароны оставили эту затею.

В 1966-м «Паназиатская Финансовая Группа Прогрессивных Инвестиционных Банков» – следуя Программе Развития, начатой в том же году с целью избавить мир от нищеты с помощью крупномасштабного капитализма, – предоставила Аддэ-Катиру ссуду. Любопытно, что ссуды у них никто не просил. Деньги так и лежали на счете, привлекая к себе внимание мировой общественности. Образовавшийся долг, как ни странно, привлек к себе еще больше внимания. В 1986-м, когда пришла пора гасить ссуду, к первоначальной, и без того огромной сумме прибавилось еще несколько десятков миллионов долларов. Аддэ-Катир призвали к ответу. Магараджа заметил, что ссуда была ему без надобности, никаких контрактов он не заключал и прибыли с тех денег не имел. «Паназиатская Финансовая Группа Прогрессивных Инвестиционных Банков» ответила, что хоть этот аргумент и не лишен *оснований*, сам спор представляется им *безосновательным*, поскольку касается экономических хитросплетений, суть которых порой противоречит здравому смыслу. И вообще, народ Аддэ-Катир нажился на тех деньгах уже хотя бы потому, что другие страны охотнее инвестировали в них средства, зная, что при случае потребует возвращения долга из ссуды. Магараджа возразил, что никто в Аддэ-Катир ничего не инвестировал. Мало того, Аддэ-Катир вообще не нужны инвесторы. У нас все хорошо, спасибо. «Паназиатская Финансовая Группа Инвестиционных Банков» обозлилась и потребовала у магараджи денег. Магараджа очень любезно предложил «Паназиатской Финансовой Группе Инвестиционных Банков» засунуть требование себе в ухо. «Паназиатская Финансовая Группа Инвестиционных Банков» обратилась в НАТО и открыла им глаза на теперь уже очевидную правду: магараджа – криптокоммунист.

Его свергли, организовав невероятно дорогой и хорошо спланированный бунт спорной репрезентативности, а новым магараджей стал Эрвин Мохандер Кумар, индус английского происхождения, знаменитый сифилитик, некогда промышлявший контрабандой наркотиков. Под знаменем Временного правительства он должен был направить Аддэ-Катир в экономическое русло. Кумар тут же подписал документ, обязывающий страну выплатить долг, после чего взял на себя некоторые господские полномочия касательно местных женщин. В Аддэ-Катире вспыхнула гражданская война, но стране, по крайней мере, больше не грозило попасть в лапы коммунистов.

Нынешняя Проблема Аддэ-Катир – следствие тех печальных событий. Беспредел Эрвина Кумара поднял волну сопротивления. Озера стали логовищем некоего пирата по имени Захир-бей, огромного воина, милитаризованной версии Ганди, провозглашенного властелином островов и новой нации пиратов-революционеров. Этот Колосс в одних матросских штанах и с абордажной саблей в каждой руке не признает государственного долга и пробуждает сладострастный трепет во всей слабой половине Аддэ-Катир и соседних стран. Вышел даже голливудский фильм, где половозрелая красавица попадает в тиски бей и, посредством танцев, веселых песен о любви и застенчивых взглядов, делает из монстра идеального мужа. Получилась странная смесь «Красавицы и чудовища» и «Моей прекрасной леди». Пикантности фильму добавило то, что бей в нем изображен прямо-таки дикарем, а из-за одного чересчур откровенного танцевального номера кино запретили к показу, в результате чего оно мгновенно распространилось по всей Южной Азии путем Интернета и

цифрового самиздата. Захир-бей в этом занятом образчике политической агитации ничего не говорит о выборах или надежном демократическом правительстве, однако выступает прямой противоположностью маньяка с фетишем женских ног (то есть Эрвина Кумара). Вопрос, горячо обсуждаемый в кулуарах Джарндиса, – где, самоочевидно, на каждом углу подстерегают охотники за мнениями, жаждущие вовлечь самых убедительных студентов в большую политику, – звучит так: считать Захир-бея другом всего человечества или террористом?

Увы, Бет ближе последнее мнение, а мне – первое. Наше свидание заканчивается катastroфой, и, встав из-за столика, Бет уходит болтать с дородным третьекурсником по имени Дхугал.

Обозленный, косматый, в дешевых ковбойских ботинках и клетчатой рабочей рубашке, я – эталон современного недовольного юноши. Я представляю собой целый спектр недовольства, и на каждый цвет у меня уходит не больше зимы. Сначала я хожу в бейсболке и обвисших джинсах, поливая грязью университетских модников. Затем надеваю обтягивающие черные штаны, мажу лицо белилами и оплакиваю смерть Байрона на заднем сиденье машины. Следом я открываю для себя панк и какое-то время хожу вообще без волос, пока однажды какие-то бизнесмены не принимают меня за фашиста (они дивятся моей храбрости и пьют за мое здоровье). Придя в ужас, я опять отрачиваю волосы. Ненадолго становлюсь яппи, но потом меня охватывает такая злость на мир в целом, что я отрекаюсь от собственного поколения и его жалких тревог за судьбу нашей гадкой планеты. Вскоре я вновь подхватываю радикализм – половым путем. Мою подругу и сообщницу зовут Алина.

Алина со спутанными темными волосами и невероятными губами; Алина с римским носом и пальцами итальянского повара; Алина с поразительно громкими оргазмами. После семинара она припирает меня к стенке и требует, чтобы я ответил за свои устаревшие необоснованные взгляды. Она ставит руки по бокам от меня, чтобы я не сбежал, и забрасывает меня подробными, исчерпывающими аргументами, а когда я начинаю мужественно высказывать свое негодование, наклоняется и затыкает мой рот страстным, откровенно эротическим поцелуем. Алина пахнет кофе, табаком и жевательной резинкой, и это (то есть политический спор и поцелуй) она спланировала куда лучше, чем я. Мне, однако же, хватает ума обнять ее и сделать вид, что поцелуй начал я, и Алина благосклонно позволяет мне тешить себя этой мыслью. Когда у нас заканчивается воздух, приходит время ужина – она знает отличное местечко. Подозрительный клуб, втиснутый между банком и почтой, представляет собой узкий коридор со столиками, ведущий к небольшому прокуренному залу. Клуб называется «Кокус» (в буржуазном порыве отличить излюбленное заведение от другого, доступного всем люмпен-пролетариям, здешние посетители ласково величают его «Корком», и тот, кто случайно перепутает названия, рискует получить штраф или временную отставку), это старый и глубоко почитаемый бастион радикализма. Несколько месяцев подряд я питаюсь исключительно в «Корке», а Алина кормит меня эротическим экстазом и политическим исступлением, после чего я превращаюсь если не в мужчину, то по крайней мере в сносную копию ее самой. Походка моя становится упругой и чуть развязной, я знакоюсь со всеми вокруг и даже начинаю понимать, о чем они говорят.

Завсегдаги «Корка» носят имена вроде Игги, Кви и Браге (по своей воле, а не потому, что так обозвала их матушка), очень любят черные джинсы, кожаные жилетки и могут в любое время поспорить о чем угодно. Чаше темами их споров становятся Глобальное Соглашение о Свободном Рынке (что меня не занимает) и Евразийское Экономическое Партнерство (что занимает меня еще меньше), поскольку от этих незанятых штук зависит, кто будет бедным, кто богатым, кто выживет и кто умрет с голоду, а это уже интересней.

– ГСОСР сдуется, – однажды заявляет Алина, – потому что зависит от постоянных поправок государства. Это не «невидимая рука», а стеклянный кулак, который рано или

поздно разлетится... – Конечно, она хочет сказать «вдребезги», но Квип (мясистый увалень, карточный шулер) всплескивает пухлыми руками и кричит, что Алина ненормальная, что ГСОСР по самые гланды засел на морализаторском шпиле, и снять его оттуда можно только с помощью революционного хирургического вмешательства.

– Дудки, – говорит Себастьян, и все умолкают, потому что он не болтает по пустякам. Как и Алина, он наполовину итальянец, не раз участвовал в деятельности студенческих бригад, попадал под дубинки полицейских и однажды поджег баррикаду в Амстердаме. Себастьян может на память цитировать революционеров от Сократа до Ленина и Майкла Мура, помнит точные цифры и факты по любому вопросу. Он знает, насколько повысился уровень Мирового океана и каким странам грозит наибольшая опасность. Помнит точные прогнозы климатических изменений на десять, двадцать лет вперед, до конца века. Знает ВВП Уганды и процент мирового дохода от проституции и наркоторговли. Все это прекрасно ему известно или, по крайней мере, он умеет так гладко и безупречно излагать мысли, что разница между правдой и вымыслом теряется.

– Революция, – говорит Себастьян так, словно объясняет очевидное, – это *реакция*. Это спазм политической системы. Когда последний раз вы видели человека в эпилептическом припадке?

Никто не вспоминает почетного ректора Айдлвайлда, хотя его покрытая струпьями голова коллективной галлюцинацией висит у нас перед глазами.

– По-вашему, это подходящее время, чтобы спросить больного о налогах? Дать ему поддержать вашего первенца? Нет? Тогда с чего вы решили, что революция – идеальная пора для предложений по обустройству страны? – Себастьян закатывает глаза, невзначай привлекая всеобщее внимание к обольстительному шраму на безупречном в остальных смыслах лбу – подарочек от голландского полисмена, с которым Себастьян потом подружился.

– Важно не *кто*, а *что* стоит у власти. Людей вынуждают действовать подобно *машинам*. Точнее, *механизмам*. Человеческие чувства и умение сопереживать *непрофессиональны*. Они мешают выполнять *разумные* действия. Все, что делает человека хорошим – делает его человеком – отсекается. Системе плевать на людей, но мы относимся к ней как к одному из нас, точно это сумма наших достоинств, а не следствие наших самых неблагоприятных поступков. Важен лишь один переворот, – заключает Себастьян. – Тот, который мы совершим ради самих себя.

Не получив заметного отклика, он пожимает плечами и возвращается к своему журналу и коктейлю. Алина перехватывает мяч беседы и устремляется к зачетной зоне. Квип и остальные еще таращат глаза от мысли, что революция – это плохо, и она делает тачдаун, заявляя: «...*вот* почему средства производства [цитата, автор] телеологически ориентированы на использование жестоких проникающих методов [цитата, автор], что неотвратимо и само собой приводит к несправедливости в чудовищных масштабах!» Все кивают. Алина бросает на меня взгляд и облизывает губы – разговоры о политике неотвратимо приводят ее к единственной мысли. Мы идем ко мне. Не факт, что общество в самом деле телеологически ориентировано на использование проникающих методов, но к Алине это относится в полной мере.

Секс, политика и неограниченный доступ к алкоголю – все, о чем может мечтать взрослеющий юноша. Самый большой кайф наступает, когда мы устраиваем демонстрацию, орем во всю глотку, сбегая от блюстителей закона и крадем у полицейского каску, которую позже водрузим на барную стойку в «Корке». Когда пьяная победная ламбада заканчивается, мы едем к Алине, где выясняется, что стащила она не только каску. Я выхожу из душа и обнаруживаю в постели голую запыхавшуюся Алину в одних табельных наручниках. К счастью, ключ она тоже стащила.

На следующее утро звонит телефон. Элизабет Сомс рыдает в трубку и лопочет что-то на неведомом языке. Я очень осторожно прошу ее успокоиться и говорить по-английски. Точнее, пытаюсь это сделать, потому что мне каким-то образом передалось ее состояние, и я не могу говорить – горло сдавило, рот полон воды и соли. Когда я наконец справляюсь с этим, начинает течь из носа и глаз. Элизабет орет на меня, вернее, бесится по какому-то другому поводу, а я вынужден слушать. То и дело она срывается на чужой язык: странные твердые слоги не укладываются в голове и лишены смысла. Однако плакать я не перестаю, и у меня саднит в горле. Я ищу взглядом Алину, но она ушла на утреннюю лекцию – непонятно, из милосердия или равнодушия. Непонятно, была ли она дома, когда зазвонил телефон.

Элизабет на секунду утихает – то есть перестает говорить. Она хрипит в трубку, и, прислушавшись, я слышу собственное дыхание, хлюпающее и неровное. Так проходит больше часа. Наконец я начинаю понимать ее лепет. Прокручиваю в уме нашу беседу – бесконечный повторяющийся ужас последних шестидесяти минут, и до меня доходит: Элизабет говорила не на чужом языке. Я не мог уяснить, *что* она несет. У Шэньян умер. Поняв это, я перестаю воспринимать происходящее до тех пор, пока не оказываюсь возле руин его дома. Элизабет сидит на тротуаре, сунув ноги в канаву, и в таком же положении я провожу остаток дня.

Ма Любич учила меня, что правда всегда одна. Тем она и отличается: своей уникальностью. Не бывает разных версий случившегося, нет никаких точек зрения. Ма Любич в первую очередь мать, и ее материнство – дело однозначное. Но здесь, на краю дороги, перед грудой обугленных досок, которые раньше были Домом Безгласного Дракона, есть две истины. Обе они допускают существование некоторых фактов. В доме номер пять жил старик-китаец и имелась коллекция холодного оружия; кроме того, там было много ветхой мебели и старинный граммофон. Где-то между шестью вечера и полночью в задней части дома начался сильный пожар, быстро спаливший всю постройку.

Это, так сказать, скелет. Огонь сжег всю плоть, и у черепа правды оказалось два лица. Первое – простое и скучно-удобное. Юми и Офелия жили в доме мастера У, пока у них шел ремонт, но в тот вечер отправились на спектакль в кукольный театр. Предоставленный самому себе и, возможно, загрустивший, У Шэньян лег поздно, приняв на грудь некоторое количество бренди. Он забыл поставить решетку перед камином, и случайная искра, пролетев через комнату, подожгла разномастные шторы. В доме, битком набитом бумагой и деревом, пламя вспыхнуло быстро и жарко. Такова была бы горькая правда. Заурядная и вполне терпимая.

Второе лицо куда затейливее. Доказательств нет. У Шэньян пал смертью героя. Вот так.

Большие часы *так-тикают*, огонь едва теплится в камине. Мастер У ест пряный яблочный кекс – Элизабет прислала его в пластиковой коробке фирмы «Таппервер». Мастер У в восторге от «Таппервера». Многообразие форм и размеров, дивное удобство герметичных контейнеров многоразового пользования его восхищают. Эта посуда – из новинок, с маленькими крылышками по бокам. Если их опустить, коробка плотно закроется. Мастер У держит ее в одной руке, а другой приподнимает краешек – *шелк*, и вновь опускает – *цик-цок*. Дело в том, что на каждом боку у посуды по две застежки, открываются они разом, а вот закрывать их надо по одной. *Щелк... цик-цок*. Пластик прохладный, но еще податливый и эластичный (эта часть мозга не имеет полного доступа к моему образованию, поэтому я не уверен, какое слово тут лучше употребить). В общем, он гнется, и гнется довольно легко – старик может снять крышку, не оцарапав кожу и не защебив палец. *Щелк... цик-цок*. Кекс очень вкусный. Свежий, сладкий, с влажными кусочками яблока и сиропом, который получается, если испечь такой кекс правильно. В нем нет гадких тошнотворных сердцевин. Многие повара считают сердцевину неотъемлемой частью яблока – видимо, из соображений какой-то неправильной экономии, поскольку твердые пластинки не дают насладиться вкусом в полной мере и, стало быть, попусту растрачивают драгоценные яблочные ресурсы.

Элизабет – фея яблочных кексов. *Щелк... цик-цок*. Пальцы мастера У скользят по круглому бочку «Таппервера». Коробка вместительная. Она идет с двумя разделенными на части подносиками, в которых можно хранить разные продукты. К примеру, две порции цыпленка, две риса и две овощей с устричным соусом. Мастер У не любит устричный соус. Он пахнет устрицами. *Щелк... цик-цок*. Крышка у посуды гладкая, четырехугольная, с плотными крылышками, укреплен ребрами жесткости. Она не тяжелая, но твердая. Основа помягче – наверное, чтобы амортизировать толчки и удары, или чтобы расширяться при заморозке жидкостей. Пластик также устойчив к порезам: он буквально срастается вокруг них, если кто-нибудь режет кекс *внутри* коробки – чего мастер У себе не позволяет. *Щелк... цик-цок... дзынь*.

Мастер У не меняет позы. Не настораживается. Он выглядит в точности как секунду назад. Однако все изменилось. *Дзынь* был особый. *Дзынь* с разными слоями смыслов и последствий, вроде безумно сложной цепочки домино, расставленной на нескольких этажах поместья. Его произвел крайний левый колокольчик на средней веревке. Стало быть, кто-то легко надавил на среднее окно. Поскольку звякнул лишь один колокольчик, давление было очень, очень слабым – будто бабочка слетела с окна. Хотя в такое время суток это должен быть ночной мотылек. *Щелк... цик-цок*. Ладно, мотылек улетел. Однако... *дзынь*. Видно, у мотылька есть приятель посолидней. Или это мотылек-мальчик гоняется за мотыльком-девочкой? Если так, он делает это около правого окна. И... *дзынь, дзынь...* девчушка попалась игривая, гоняет парня вокруг дома и сейчас они возле... *дзынь...* левого окна.

Мастер У сидит в кресле-качалке. Он стар. Он объелся кекса и выпил чаю, а потом полчаса играл с «Таппервером». Будь причиной звона не похотливые мотыльки – к примеру, в дом решили проникнуть убийцы – они бы непременно увидели, что он совсем ослаб. Безобидный старый чудак засыпает, убаюканный собственной игрой и мягким покачиванием кресла. Возможно, он выбрал этот опасный миг, чтобы впасть в детство. Веки его тяжелеют, но полностью не закрываются. Он так стар, что разница не заметна.

Человек, влезший в левое окно, очень большой, оттого его молчание пугает. Он в прекрасной форме, раз вошел так быстро и тихо. Для этого ему надо было сделать вертикальный шпагат, пролезть в комнату и, не теряя равновесия, встать на вторую ногу. Все это не заняло у него и доли секунды. Колокольчики на окне успевают еще раз звякнуть, прежде чем он останавливает их рукой.

Мастер У не просыпается и что-то бормочет во сне, поглаживая «Таппервер». Убийца замирает на месте. В то же окно пролезают еще двое. Остальные ждут в саду – там целая армия. Ниндзя, члены Общества Заводной Руки, в конце концов пришли за У Шэньном. Когда они опускают глаза на дедулю, дремлющего в кресле, и понимают, что собрались здесь в таком количестве и с такими мерами предосторожности ради восьмидесятилетнего старикана, их предводитель издает тихий, неприятный смешок.

Крышка от «Таппервера» летит ему прямо в лоб. Порез неглубокий, но кровь попадает в глаза и не дает четко видеть. Он сразу теряет пространственное зрение и не может толком защититься, когда кресло выбрасывает Мастера У вперед, чуть ли не в объятия ниндзя. Старик делает выпад и проворачивает нож в мишени, однако это не живот ниндзя, а доннышко «Таппервера». Пластик плотно смыкается вокруг клинка: теперь враг не может схватить его или отразить, а значит, его вот-вот разоружат. Инстинкт подсказывает покрепче вцепиться в свой нож (все-таки он плохо видит и не успевает следить за ходом событий). Мастер У не пытается отобрать у него оружие. Он принимает курс, избранный врагом, плавно ему следует и вдруг становится хозяином положения. Ниндзя замечает, что его бедра двигаются несообразно ногам, а руки раскинуты слишком широко, чтобы правильно воспользоваться

их силой. В конце цикла мастер У отбирает нож, и верзила встает на цыпочки – лезвие у него под подбородком. Вот что бывает с теми, кто недооценил красоту «Таппервера».

Мастер У решает его не убивать. В этом отличие хороших от плохих. Он вырубает врага с надеждой, что тот задумается, до чего докатился. Потом он аккуратно встает между двумя оставшимися противниками и сталкивает их друг с другом. Увы, они очень хотели убить мастера У, поэтому один зарабатывает скверное ножевое ранение. Это отвлекает его напарника, и мастер У бросает его на двух других ниндзя, готовящихся к атаке.

Бой продолжается, плавный и великолепный, однако вскоре мастер У осознает: он устал, а враги – нет. Его ни разу не задели, но справедливо и другое: первая же рана положит конец схватке. Он должен быть безупречен, а противникам надо всего лишь проявить настойчивость. Если даже он их прикончит, явятся новые; время и место выбирать не ему. Хуже того, скоро вернутся Юми с Офелией – если их не убьют сразу, о них узнают. Пока что мастер У вполне может быть холостяком. Ниндзя ничего не знают о его семье, потому что не бывали в доме, где хранятся все фотографии. Они проникли только в гостиную, и у них сразу появились важные дела. Об учениках мастера У им тоже неизвестно: сведения хранятся в письменном столе. Таким образом, он – слабое звено вражеской цепочки. Без У Шэньяна ниндзя не доберутся до Безгласного Дракона. Он станет не только безгласным, но и невидимым – от этого у всех ниндзя лопатки зачесутся. Хотелось бы посмотреть, как они свалятся в яму, которую сами же вырыли! Мастер У принимает решение.

Сейчас у него три противника. Они приближаются с разной скоростью – это существенно осложняет дело и подразумевает, что перед ним настоящие мастера. Не подстроиться под ритм атакующих очень трудно. Мастер У шагает навстречу одному, скользит сквозь пространство, которое готовится занять второй, и сталкивает их лбами. Оба падают в камин и загораются. Третий медлит, но потом бросается им на выручку. В это время мастер У открывает бар, берет две бутылки и разбивает их о голову, обливаясь спиртным и получая в распоряжение два очень скверных орудия. Он шагает в сторону – очередной противник влетает в бар, разбивая еще несколько бутылок, – и начинает двигаться по комнате, оставляя за собой спиртовой след. Он подскакивает и пригибается, режет и рубит, руки извиваются вокруг тела. Мгновением позже огонь прыгает ему на ноги и следует за ним по гостиной: вспыхивают шторы, крашенные стены начинают дымиться. Ниндзя не отстают: клинки свистят у старика над головой и за спиной, тяжелые руки хватают воздух, ноги топчут пустой пол. У Шэньян неуловим. У Шэньян сделан из воды.

И тут, посреди хаоса, наступает единственный миг безупречного покоя, когда все действия и противодействия уравнивают друг друга. Старик с улыбкой протягивает руку к огню и загорается. Улыбка не сходит с его губ, когда он разворачивается к ниндзя со стеклянными лезвиями в широко раскинутых, пылающих руках. Каждый из них будет вспоминать этот миг до самого смертного часа, холодными ночами откровений и в минуты тишины – всякий раз им будет мерещиться «Таппервер». Они запомнят вселяющего ужас старика с безмятежным взглядом, который ловко шагнул им навстречу, хотя кожа его лопалась, а волосы шипели; который наступал, когда они отходили. Мастер У выгнал их в ночь и шел за ними, не подпуская к дому, пока тот не сгорел дотла. Тогда он упал на колени и мирно испустил дух, а его враги дрожали в темноте. Ниндзя запомнят этот миг – миг, когда они познали страх.

На похороны мастера У собирается удивительно много народу. Старика знал чуть ли не каждый житель Криклвудской Лощины; проститься с ним приходят все лавочники, семьи и учителя из школы Сомса, все временные обитатели загородных и пляжных домиков. Люди несут с собой кексы и чай, и в память о мастере У мы дружно поднимаем стаканчики. Понятия не имел, что у него столько знакомых.

Говорю об этом Элизабет.

– Их позвала я. Так заведено – приглашать много гостей. И я не смогла... – Элизабет очень плотно сжимает губы и стискивает кулаки: понятно, о чем она молчит. Кого нам не удалось разыскать, так это учеников мастера У. Безгласный Дракон исчез, улетучился, словно пар, из каждого города на каждом материке. Или, быть может, им просто стыдно брать трубку, потому что они бросили учителя одного.

Юми и Офелия растворились в толпе – так, обычные гости на больших показных похоронах. Урна маленькая, поэтому не видно, кто ее несет, когда вся процессия чинно шагает к морю. Мы развеваем пепел мастера У с утеса, и он несколько секунд летит облаком, пока ветер не унесит его навстречу новым приключениям. Элизабет обнимает меня, затем отворачивается, и мы горюем поодиночке.

Когда я возвращаюсь в Джарндис, Гонзо и Алина, которым всегда было не по себе в компании друг друга, возятся со мной по очереди. Они опаивают меня, помогают забыть случившееся или хотя бы смириться с ним. Две недели спустя я просыпаюсь и обнаруживаю, что, хоть небо над головой и серое, а мир вокруг по-прежнему темен, этот мрак скорее пробуждает мою душу, нежели смиряет ее. На улице вечер, и у меня нет похмелья. Я вновь способен нормально функционировать, во мне будто включился наддув. Близость смерти растормошила меня по-настоящему, я начинаю брать от жизни все. Мы с Алиной трахаемся, как кролики, и я тут же выпрыгиваю из кровати – сон придуман для других. Я в изрядных количествах поглощаю книги, музыку, спиртное и еду. Набираю вес. Теперь я без доли иронии хожу с расстегнутой до середины груди рубашкой, при этом не выгляжу смешным. Я Тарзан, я Долговязый Джон Сильвер, да, *черт подери*, это все про меня. Смотрите и завидуйте! Гонзо начинает за меня беспокоиться.

Я мотаюсь между лекциями, «Корком», вечеринками и демонстрациями, пока не начинаю чаще узнавать лица полисменов, чем демонстрантов – хоть мы с товарищами по сцепленным рукам и цветам вышли из одного общества, я неизменно в первых рядах и чаще смотрю на щиты полицейских, нежели оглядываюсь назад. На очередном митинге в меня попадает камень – брошенный, скорее всего, сзади, – и меня тут же провозглашают героем, а моя физиономия красуется на первых страницах местных газет. От полицейского инспектора приходит доброжелательное письмо: он выражает надежду, что я не получил серьезных травм. К недолгому отвращению Алины я бойко отвечаю, что у меня все хорошо, надеюсь, у него тоже. Она прощает меня, лишь когда я подчеркиваю, что офицер негласно взял на себя ответственность за то, чего не делал, и в общем счете это очко будет не в его пользу.

Звоню в Швецию и прошу их выслать нам своего представителя, а когда они соглашаются (явившийся из посольства сухонький зануда читает лекцию о правах на разработку недр Северного моря, пока мы не спаиваем его и не отправляем домой со страусиным пером в штанах), я звоню в Москву, Сидней, Рим (и Ватикан), в Польшу и даже в Аддэ-Катир, надеясь на дальнейшие успехи.

Звонить в Аддэ-Катир – дело увлекательное и непростое, потому что их телефонный код нигде не значится. В конце концов я обращаюсь к смотрителю «Корка» – однажды он встречался с девушкой из Красного Креста и знаком с парнем из ООН, у которого есть номер представительства Временной Катирской Администрации в Нью-Йорке. Когда я звоню по этому номеру, секретарь отвечает, что ей с ноября не платят жалованье, и, если она передаст мою просьбу, ее проклянут. Я пытаюсь сказать, какой неоценимый вклад она вносит в международные отношения, но она уже повесила трубку. Нужно принимать более дерзкие меры.

Я звоню человеку, знакомому с человеком, который встречался с девушкой, в чьей записной книжке был телефон кого-то (пол неизвестен), кто вроде бы имеет выход на некоего ученого. Ученый этот хорошо знает Колосса – разрушителя надежных экономических моделей, попирателя договорных обязательств; любимчика робких, готовых на все дев (и мат-

рон); искусного воителя и гаргантюа; бесстрашного, неуязвимого каприза природы; титанического Фреда Астера из Аддэ-Катира, Захир-бея.

Через цепочку знакомых и малознакомых людей я в конечном итоге выхожу на телефонный номер со швейцарским кодом. Отвечает мне брюзгливый субъект неопределенного пола:

– Konditorei Laueneur.

– Алло? Мне нужен Захир.

– У нас его нет. Только отель имеет право его печь.

Ответ сбивает меня с толку. Я не готов к обмену секретными словами и пытаюсь выдумать фразу, которая звучала бы столь же загадочно и по-шпионски, но, не успеваю я собрать недостающие детали, как меня перебивают:

– Видите ли, было разбирательство. Хозяин отеля потребовал решения суда. Это их марка, вот в чем дело. Кто угодно может испечь торт *а-ля* «Захер», не? А оригинальный «Захер» имеют право печь только в отеле. Так постановил суд. В любом случае, – с некоторым удовольствием добавляет субъект, – у нас его нет.

Меня осеняет: он услышал «Захер» вместо «Захир» и решил, будто речь о торте. Я объясняю, что ищу лидера революционного движения, организованного против вмешательства империалистов и марионеточного режима, установленного похотливым Эрвином Кумаром. Наступает тишина.

– Вы в курсе, что звоните в кондитерскую? – наконец выговаривает субъект, раздумывая, стоит ли продолжать разговор.

– Мне дали ваш номер, – объясняюсь я. Мой тон из властного и делового превращается в извиняющийся.

– Так отдайте его обратно! – Эти слова он произносит с веселым удивлением. – У вас неправильный номер. Это кондитерская. В Базеле. На севере, понимаете? Тут полно тортов и ни одного революционера. Они все бьют и крушат. Революция – это не по-швейцарски.

Просветив меня таким образом, субъект вежливо кладет трубку, а я остаюсь у телефона, соображая, что делать дальше.

Два дня спустя за мой столик в «Корке» садится опрятный джентльмен лет сорока. Понятия не имею, как его пустили, но в руке он держит стакан односолодового виски из бара, и вид у него вполне довольный. У мистера ибн Соломона (так он представился) едва заметное брюшко и ладный синий костюм. Кожа чистая и смуглая. Он похож на финикийского купца или мавританского рыночного торговца: гладко выбрит, улыбчив, руки ухоженные. У него тихий голос, и я с некоторым удивлением узнаю его полный, пожалованный Захир-беем титул: Фриман ибн Соломон, полномочный посол Свободного Аддэ-Катира. Побеседует ли он с собравшимися здесь мыслителями и просто завсегдатаями? А как же! С удовольствием, ведь это его долг. Однако Фриман ибн Соломон – строгий приверженец одноуровневых разговоров и переговоров. Посему никаких кафедр и помостов: он будет сидеть в этом прекрасном баре и беседовать с нами на равных. В доказательство своей готовности быть, как мы, он опрокидывает стаканчик «Брукладди» и любезно заказывает второй.

– У нас есть оружейная гора, – говорит Фриман ибн Соломон. – Вы тут не знаете, куда девать молочные озера, ржаные поля и все такое прочее. А у нас – оружейная гора. Мы не прочь получать излишки вашего оружия, но лучше складывайте его в одну кучу. Оно поступает в нашу страну помаленьку, капля за каплей. Крохотные партии сначала идут к Эрвину Кумару. Тот их теряет или продает, и оружие в итоге валяется повсюду. Неделию назад я нашел целый ящик у себя на кухне, под брокколи. Рано или поздно, – добавляет он без тени гнева или иронии, – этим оружием кого-нибудь убивают, что очень печально.

Удивительно, но Игги выступает в защиту международной системы. Обычно Игги и остальные громко порицают капиталистическую гегемонию (то есть, все на свете). Но когда Фриман ибн Соломон высказывает им те же мысли, они пытаются заверить его, что все не так уж плохо. Вероятно, услышав это от Фримана ибн Соломона, да еще в правильном контексте, они чувствуют себя виноватыми и хотят оправдаться.

– Вы ведь не официальный представитель, так?

– Боже упаси! – отвечает Фриман ибн Соломон. – Нет, мы никого не представляем.

Игги откидывается на спинку стула, доказав всем, что в бочке подозрительно вкусного меда не обошлось без ложки дегтя.

– Нет, – продолжает Фриман ибн Соломон, – у нас прямая демократия, все участвуют в принятии любого решения, если на это есть время. Если нет, бей имеет преимущественное право действия, чтобы нас не застали врасплох. Но законов у нас нет.

Игги изумленно таращится на ибн Соломона. Себастьян за стаканом водки с тоником открывает глаза и смотрит на него с явным интересом. Алина фыркает и вопрошает:

– Нет законов?!

– Нет, – подтверждает Фриман ибн Соломон. – Понимаете, закон – это ошибка, попытка записать все то, что человек должен знать сам. У нас такого нет. Люди действуют, руководствуясь здравым смыслом, и должны быть готовы за свои действия отвечать. Не такая уж благоприятная среда для преступников, как вы вообразили. – Он отхлебывает виски.

– Но разве это не приводит к коррупции? – желает знать Алина.

– О да. То есть, в некотором смысле, да. Видите ли, мы – пиратская страна, и власть у нас менее формальная. Но вы правы, каждый заботится только о своей шкуре. Вместе с тем любого можно призвать к ответу. Всегда есть тот, кто с тобой не согласен. – Он пожимает плечами. – Так уж заведено: выбирая правительство, человек сам выбирает себе отраву. Мы выбрали эту.

Фриман ибн Соломон так падает духом, что мы меняем тему. Потом Квип садится за пианино, и нам выпадает честь лицезреть, как полномочный посол танцует канкан с Алиной и девушкой по имени Иоланда, сбившей себе половину волос.

Когда проходит слух, что в университете появился свой человек из Аддэ-Катира, все голоса обширного диссидентского спектра вдруг признают нашу состоятельность и важность как одного из оплотов свободомыслия. Я поднимаю в «Корке» новые темы, приглашаю новых ораторов, и некоторые из них настроены дружелюбно, а другие нет, но я теперь настоящий мужчина, и с каждым новым гостем Алина заводится все сильнее: мы едва не стираем до дыр орудие угнетения государственного угнетателя, и дело идет к тому, что скоро нам придется стащить новое. Аддэ-Катир перестает будоражить общественное сознание, поскольку переговоры заходят в тупик: Совет Безопасности ООН отвечает отказом на просьбу Захир-бея прислать в Аддэ-Катир миротворцев. В «Корке» чуть не случается раскол: одни считают, что это шаг в правильном направлении (подальше от квазитоталитарной культурной гегемонии), другие – что нет (в сторону изоляционистской экономической империи). К счастью, на пенной вечеринке все мирится, и жизнь продолжается.

В Эрвинвиле великий президент продолжает иступленно изучать «Камасутру».

Вокруг озера Аддэ группировка Захир-бея посредством черного рынка, более эффективного и гуманного, нежели легальный, поддерживает некое подобие порядка и инфраструктуры.

Выступая против пушного промысла, Алина сбрасывает волосы на лобке. Несмотря на этот отвлекающий момент, я умудряюсь сдать сессию.

Гонзо получает посылку от Ма Любич, в которой мы обнаруживаем такое изобилие еды и напитков, что оно с трудом умещается в комнате. Особенно мне приходится по вкусу овсяные меренги с малиной.

Идиллия держится вплоть до того утра, когда я сижу за столиком, пишу курсовую по биологии и толком не слушаю, как Себастьян объясняет Квипу, что «свобода передвижения и скорость передачи информации, присущие периоду позднего модерна, неизбежно влекут за собой, однако не оправдывают конец Эпохи Присутствия». Внезапно через кладовую в бар вламываются ребята в масках (их появлению предшествует вспышка света и грохот, от которого чешется в носу и из ушей течет кровь), грубо швыряют нас всех на пол и впечатывают лицами в потертый ковер, так что я вдыхаю несметное количество пылевых клещей и едва ощутимый аромат полового сношения. Один верзила в маске вопит (мог бы и не утруждаться), что это налет.

Я поднимаю голову. Алина лежит напротив: темные волосы очаровательно и сексуально растрепаны, лицо потрясенное и напуганное – это, в свою очередь, пугает меня, поскольку у нее куда больше революционного опыта, и она никогда не рассказывала, что такое бывает. Я выдыхаю ее имя, но она даже не смотрит в мою сторону; тут подбегает здоровяк, орет мне что-то в лицо и тащит меня прочь одного – то ли потому, что у меня самый диссидентский видок, то ли потому, что я строю из себя оболстительного диссидента в обтягивающих джинсах и одним этим заслужил страшные муки.

Кузов грузовика службы безопасности – место удручающее. Здесь пахнет страхом и нематыми личностями, сиденье жесткое. Я прикован наручниками к большому кольцу в полу и представляю, что это, должно быть, некое встроенное замковое устройство на случай аварии. Если грузовик свалится в одну из многочисленных речушек вокруг Джарндиса, оно обязательно сработает и выпустит меня... или необязательно. Я возлагаю все свои надежды на бритую голову, виднеющуюся за решеткой, и что есть мочи стараюсь быть хорошим арестантом, а не угрозой обществу. Кроме того, я усиленно сдерживаю тошноту, которой весьма способствует нахождение в беззаконном кузове, когда голова у тебя между коленей, а на улице пекло.

Из болтовни по радиации и обмена односложными репликами между водителем и его приятелями я узнаю, что ребята в масках – не вполне солдаты. Это невоенная оперативная группа, созданная для гражданской обороны и борьбы с терроризмом. Фактически они наемники; вооруженные силы передают их в пользование службам безопасности, и в это время они считаются штатскими. То есть они обучены, как солдаты, вооружены, как солдаты, дерутся и при необходимости *убивают*, как солдаты, однако их услугами можно пользоваться в стране и за ее пределами, не заботясь о таких скучных актах, как Закон о чрезвычайных полномочиях шерифа или Билль о правах. Любопытно: то, что они *не* солдаты, позволяет им еще сквернее обращаться с другими не-солдатами.

Шагая туда-сюда вдоль рядов с удрученными арестантами, они орут, что мы коллаборационисты, – видимо, по этому поводу мы должны как-то особенно расстраиваться. То и дело они отвешивают нам подзатыльники; если кто-нибудь из задержанных разбушует, его затыкают пинком. Потом кричат опять. Мы «предатели», «изменники», «иуды», «пятая колонна», «диверсанты» и «ренегаты». Наши имена и адреса вносятся в базу, у нас забирают документы, подтверждающие личность, шнурки и ремни. Затем к нам в камеры заглядывает младший офицер и добавляет, что из нас вырастут петены и квислинги.

Камеры оборудованы далеко не по последнему слову техники. Отчасти я готовился к сверкающим коридорам, биомониторам и полиграфам. Я и помыслить не мог, что нас бросят в клетушки из мелкой сетки, наспех сколоченные посреди заброшенного склада. Я не ожидал увидеть тусклую лампочку над головой и железное ведро вместо унитаза. Нет, это не моя страна – скорее, одна из тех стран, где все плохо. По сути, с этим мы и боремся, хотя не испытывали ничего подобного на собственной шкуре. Оно было где-то далеко, а теперь здесь, рядом, и не сказать что очень окрыляет.

Со мной в камере Игги, Себастьян и еще два-три типа, которых я не знаю, явно не студенты, потому что они старше, сварливее и сами зарабатывают себе на хлеб. Они – члены настоящих профсоюзов, призывающие своих сослуживцев требовать у власти достойной – не возмутительно высокой – оплаты труда и соблюдения техники безопасности. Они напуганы, и это пугает, потому что в таких вещах они разбираются куда лучше нас.

– Фашисты, мать их, – говорит Себастьян.

Игги не совсем согласен: частые отсылки к мысленным образам Холокоста контрконструктивны, поскольку...

– Когда тебя бросают в клетку, – твердо отвечает Себастьян, – и обращаются с тобой как с недочеловеком, а сами ходят в стильной форме и утверждают, что служат во благо родины, это фашисты.

Тут они врываются в камеру, хватают Себастьяна и набрасывают ему на голову мешок. Он держится молодцом, только у самой двери начинает кричать. Нет, они не вполне «врываються», мы видим их приближение: идут целенаправленно, у многих под нарядной формой заметны накачанные мускулы, но, когда они распахивают дверь, это совершенно не похоже на их прежнее появление в «Корке». Никто не вопит, не взрывает гранаты, не толкается и не дерется. Спокойно, без лишней возни, они делают свое дело с отточенной легкостью и мощной кинетической энергией, так что запах власти отталкивает нас от Себастьяна и дает им беспрепятственно схватить его и утащить прочь. Обратно его не приносят. Мы все ждем, но зря. Они вообще никого не приносят, и наш склад мало-помалу становится пустее, тише и страшнее.

Я вдруг замечаю, что начал разговаривать. Почти все молчат, большинство задержанных сидят или привалились к стенам, а я расхаживаю по камере, и мои губы двигаются будто сами по себе. Я хочу знать, законно ли с нами поступили, и если нет, то лучше это или хуже. Я спрашиваю, имеет ли кто-нибудь опыт в подобных делах или юридическое образование, и Барри (второй профсоюзовец) подчеркивает, что если да, то лучше ему помалкивать, поскольку камеры наверняка прослушиваются. Я перестаю задавать вопросы и принимаюсь искать жучки, пока Игги не замечает, что их необязательно должно быть видно. Я продолжаю поиски, на случай если жучки есть и я способен их обнаружить. Игги велит мне успокоиться и сесть, когда в камере вновь появляются ребята. Барри протягивает им руки, но они обходят его стороной, грубо хватают Игги, накрывают мешком и утаскивают под руки.

– Нехорошо, – говорит Барри.

– Что плохо?

– Они уводят нас по порядку. Стало быть, знают, кто мы.

А если знают – или думают, что знают, – то это, по меньшей мере, не ошибка. У них на нас что-то есть. Барри пожимает плечами и садится. Остальных просто отвели в другие камеры, говорит он, чтобы мы не могли спланировать следующий шаг. Хорошо бы. Тогда у нас уйдет больше времени, чтобы выпутаться, но в итоге все будет нормально.

Мне было спокойнее, когда он не так волновался и не пытался меня утешить. Неужели я здесь умру, исчезну с лица земли? Пытаюсь заверить себя, что это лишь часть вопроса. Легче не становится.

Ребята возвращаются, и от ботинок офицера на полу остаются темно-красные следы. Я от всей души надеюсь, что он прошелся по свежеразкрашенному дорожному знаку, хотя и понимаю, что это не так. Они забирают Барри, он кивает мне и говорит «Держись», чем выводит их из себя: прежде чем надеть ему на голову мешок, они затыкают ему рот кляпом. Двадцать минут вечности спустя та же самая грубая ткань скребет по моей коже: от нее разит чьим-то дешевым одеколоном.

Ходить с мешком на голове крайне необычно. Я ничего не вижу и плохо слышу. Несолдаты должны вести меня под руки. Я завишу от них, а они, в свою очередь, должны

обо мне заботиться. Они выступают в роли родителей, и я – их подопечный до тех пор, пока не доберусь до нужного места. Не-солдат слева от меня придвигается ближе. «Так, еще два шага, раз-два, отлично, стой... Вот умница». Голос у него в самом деле довольный. «Повернись... так. Сядь. Ну вот и все».

Меня сажают на стул. Он неудобный и мокрый. Кто-то хорошенько пропотел на этом стуле, а может, не только пропотел: в воздухе держится стойкий запах хлорки. Мешок с меня не снимают. Парень слева – вообще-то он уже не слева, но я узнал голос – бормочет: «Веди себя смирно, лады? Тебе же лучше будет». Кто-то за моей спиной смеется и называет его мистером Хорошим. «Да, мать твою, я хороший». Из чего я делаю вывод, что есть еще мистер Плохой. Мистер Хороший отходит: воздух без него становится чуть прохладней. Я жду.

Раздается громкий скребущий звук. У меня под ногами обычный складской пол, бетонный и шершавый, поэтому я заключаю, что кто-то придвинул ко мне стул – довольно тяжелый. Наверное, офисный без колесиков, а не легкий пластиковый, какие ставят в конференц-центрах. Мешок срывают без тени заботы о моем носе или подбородке, отчего их немного жжет, и я оказываюсь лицом к лицу с осовелым буколическим чудачком в грязном генеральском кителе – похоже, он тут главный.

Лицо у него ничем не примечательное. В том смысле, что оно широкое, красное и покрыто колючей бледной щетиной. Глаза узкие и кажутся совсем крохотными из-за опущенных уголков – словно ему пришили брови к щекам. Какая-то часть моего мозга принимает эту особенность за эпикантус и даже вспоминает невероятно полезный факт: эпикантус характерен для азиатов, а у представителей европеоидной расы обычно свидетельствует о болезни Дауна. Поскольку человек, сидящий передо мной, совершенно точно не азиат, а даун едва ли получил бы столь высокое звание, генерал по всей видимости, – загадка природы. Однако не это обстоятельство потрясает меня до глубины души. Я ошарашен потому, что генерала зовут Джордж Лурдес Копсен, и он – отец Лидии, детской пассии Гонзо и любительницы ослов. Я его знаю, а он знает меня. Последний раз я видел его на школьном празднике, за столом с игрой «Угадай, сколько конфет в банке». Джордж Копсен угадывал из рук вон плохо. Точнее, совсем не угадывал. С помощью карманного калькулятора он сопоставил ответы трехсот или около того участников и выдал максимально точную цифру (допустимая погрешность колебалась от пяти до десяти конфет – именно столько успел слопать один первоклассник, прежде чем мы его остановили). Джордж Копсен смотрит на меня с видом человека, который уже просмотрел дело, все о тебе знает и все понимает, *не* привязан к мокрому стулу и держит в руках маленький пульт с внушительной красной кнопкой – впрочем, так оно и есть.

– Как дела? – любезно осведомляется он, и я пытаюсь отчужденно кивнуть, дабы продемонстрировать полное самообладание, хотя какие-то полувоенные выкрали меня из клуба и привязали к стулу.

Увы, голову мне тоже закрепили, поэтому я только дергаю шейными мышцами и выгляжу как болван. Джордж Копсен дружелюбно лыбится и предлагает изъясняться словами. Я отвечаю, что у меня все нормально. Хорошо. Правда, нервничаю малость. Джордж Копсен замечает, что так оно и должно быть, но он сейчас все устроит.

– Ты, главное, скажи, кто тебя завербовал, и о чем вы говорили в камере, и что вы собираетесь делать, и кто все эти люди. – Опять улыбка.

Я бы с удовольствием, вот только меня никто не вербовал. Да, меня ни с того ни с сего заграбастала какая-то безумная итальянская активистка, позже я в нее влюбился (по далеко не возвышенным причинам, как я теперь понимаю), однако в радикальных группировках я никогда не состоял – нельзя же считать таковой братство беззаботных выпивох или, пусть и довольно крупное, сообщество молодых людей, проникшихся радикальными взглядами с одной целью: затаскивать в койку девчат. Джордж Копсен достает откуда-то папку и накло-

няется ближе ко мне. Он открывает ее, как семейную Библию, и заговаривает со мной укоризненным тоном, будто с новым щенком, обмочившим ковер в гостиной:

– Сдается, на многих из вас, мальчиков и девочек из хороших семей, очень повлияла одна личность. Будем звать его мистер А, не возражаешь? Тот еще тип.

Себастьян. Вот ты вляпался, брат! И от меня теперь требуют подлить масла в огонь... Что бы сделал на моем месте Гонзо? Гонзо здесь бы не оказался. Гонзо – атлет, футболист, звезда поля, народный герой и любитель неимоверно заурядных красоток. Гонзо – предприимчивый, квалифицированный рыцарь без страха и упрека. Впрочем, друга бы он не сдал. Ни сейчас, ни когда-либо, ни за что на свете и ни под какой пушкой.

– Мистер А был центральной фигурой в борьбе, проводимой вашими кадрами. – С каких это пор у нас появились *кадры*? Я даже толком не знаю, что это. – «Он был нашим предводителем и исповедником для тех, чья решимость дрогнула. Без мистера А ничего бы не получилось». Так сказал нам ваш Игги. Как его зовут на самом деле?

А вот это безобидный вопрос. На одежде Игги еще со школы остались именные бирки.

– Эндрю, – отвечаю я Копсену.

– Послушай, что сказал Квип: «Мистер А учил нас самым разным подрывным действиям, от взяточничества и шантажа до сексуального принуждения и изготовления взрывчатки».

Н-да, фантазия у Квипа разыгралась не на шутку. Возможно, ему в этом помогли.

– Ну а вот слова вашей дамочки: «Меня завербовал один однокурсник. Силу его убеждений и решимость невозможно переоценить. В моем случае он избрал сексуальный подход: соблазнил меня, навязал свое физическое присутствие и политические взгляды, а потом привел в клуб «Корк» – как я уже говорила, это их логово, где ведется идеологическая подготовка террористических элементов. Теперь я понимаю, что постоянно жила между сексуальной одержимостью и физическим страхом перед этим человеком. Спасибо, – тут в голосе Джорджа Копсена появляется нотка, которую можно принять как за жалость, так и за насмешку, – что *спасли* меня». Ничего себе, а?

Алина, похоже, забыла предупредить, что была любовницей Себастьяна и что он так долго держал ее в страхе. Вот только я потихоньку начинаю сознавать, что Джордж Копсен толкует вовсе не о Себастьяне, и потом это подтверждают его краткие обстоятельные показания, в которых он тоже винит мистера А во всех смертных грехах. Джордж Копсен явно не ждет, что я подтвержу эти слова и подолью масла в огонь, на котором живьем сожгут мистера А. Игги, Квип и Алина описали человека, которого я никогда не видел и не знал до сегодняшнего заочного знакомства. Однако я очень боюсь, что они одели меня в его пальто и сдали со всеми потрохами. Джордж Копсен показывает Алинину подпись, изящную, легкую и почему-то сразу наталкивающую на мысль о наручниках в постели. Кивает: да, они все утверждают, что мистер А – я.

И даже теперь Гонзо бы их не сдал. Не стал бы вспоминать их проступки, называть места и явки, в чем-то их винить. Гонзо бы крепко стоял на своем, потребовал бы адвоката и *швырнул бы свое презрение* в лицо Джорджу Копсену. Мои попытки выглядят жалко, но я говорю, что не знаю, почему они так сказали, хотя сердце у меня обливается кровью и я едва сдерживаю слезы.

На этом генерал немного мрачнеет и предлагает мне хорошенько обдумать положение. Тогда я рассказываю ему свою историю от начала до конца – он внимательно слушает и затем поясняет, что выражался не фигурально и его рекомендацию стоит воспринимать как приказ. Он достает из чрезвычайно мужественного кармана дамскую пудреницу и показывает мне зеркало, дабы между пятнами дорогой косметики я во всей полноте разглядел дерьмо, в которое влип.

Обоняние тесно связано с памятью. Ветхие слепые старики, сидя в шезлонгах на лужайке «Счастливых акров», ясно вспоминают, что происходило с ними на газонах и клумбах их молодости. Так и этот миг запечатлевается в моем сознании: с момента истины в той комнатухе и по сей день запах одной-единственной марки пудры наводит на меня удушающий страх. Ею пользуются чопорные вдовы с сильными характерами, и косметика едва ли их красит. Впрочем, я все равно на них не смотрю, потому что сразу вспоминаю процесс медленного осмысления картинки, увиденной в пятисантиметровом зеркальце. Руки у Джорджа Копсена почти не трясутся, но он все-таки живой человек, и зеркало слегка дрожит. Это не беда, наоборот, благо; оно слишком маленькое, чтобы я разом увидел обстановку вокруг себя. Постигающий меня ужас связан с явлением остаточного изображения, которое используется в кинематографе и мультипликации: зрительная система удерживает картинку в течение некоторого времени после того, как она исчезает. Затем из отдельных фрагментов складывается полное изображение – так последовательность двадцати четырех кадров становится движущейся картинкой. И именно так я воспринимаю обстановку. Мне приходится сосредоточиться: видимо, Джордж Копсен это понимает и настраивает меня на нужный лад.

Есть одна причина, почему я сижу на мокром и скользком стуле, не в состоянии пошевелить головой и руками, а в воздухе стоит запах хлорки: я в камере смерти. На электрическом стуле. Из стены торчит толстый кабель, похожий на крысиный хвост и ведущий к моим ногам: при необходимости по нему пройдет столько тока, сколько нужно, чтобы поджарить мне мозги.

Отец Лидии раздумывает, казнить меня на месте или обождать – он положил палец на кнопку и, в общем-то, может нажать ее чисто случайно, если я дам ему повод стиснуть кулак. Или если он просто чихнет. Разумеется, его действия в высшей степени незаконны – узнай о них кто-нибудь, у генерала будут большие неприятности, но вряд ли это (очевидно, Джордж Копсен в курсе всех «за» и «против») будет иметь какое-то значение для дымящихся запеченных останков оклеветанного студента.

Гонзо сказал бы – это блеф. Гонзо бы не сомневался, что это *действительно* блеф. Мой же инстинкт подсказывает разъяснить ситуацию с мистером А в свете недавно изученной теории Готлоба Фреге о «смысле» и «значении». Суть ее сводится к тому, что язык не всегда соответствует реальности, и что иногда можно использовать слово – например, «единорог» – для обозначения предмета или явления, не обладающего подразумеваемыми характеристиками. «Единорогом» мы называем мифическое животное с длинным рогом во лбу и нежной любовью к непорочным девам. Это «смысл». Однако «смысл» имени не всегда является точным описанием существующего предмета. «Значение» может оказаться совсем другим: скажем, единорогом назовут грязную лошадь, стоящую перед заборным столбом.

Но довольно о мифических тварях; самое главное и важное здесь то, что смысл и значение довольно независимы друг от друга и могут *чудовищно* не совпадать. В результате предмет, который вы, казалось бы, знаете вдоль и поперек, на самом деле оказывается чем-то другим. Например, однажды кто-то проснулся, посмотрел на Утреннюю звезду, вспомнил о Вечерней, а потом заглянул в телескоп и обнаружил, что Веспер и Геспер – это одна планета, Венера. Два неверных смысла для одного значения! Ах, что за славный был денек! Всем открытиям открытие! Как они, должно быть, смеялись... *Ха-ха! А-ха-ха-ха!* Истина, под которой каждый готов был подписаться, оказалась вовсе не истиной. Так и мифический мистер А – чистый «смысл», мираж, привидевшийся правительству и генералу Копсену, а позже Алине, Игги, Квипу и всем остальным, «значению» которого нелепейшим образом соответствую я. Потом мы вместе посмеемся над этим бредом. *А-ха-ха-ха! Вот умора!*

Однако что-то подсказывает мне: подобные доводы вряд ли произведут впечатление на Джорджа Копсена. Ему может не хватить терпения на Фреге, он утомится и нажмет какую-

нибудь кнопку – так, от скуки, посмотреть, что из этого выйдет. Я не желаю знать, что выйдет, и помалкиваю о Фреге.

Тут я совершаю, пожалуй, самый разумный поступок за несколько месяцев: очень любезно осведомляюсь у генерала, чего он от меня ждет, как действовал бы на моем месте и какой курс я захотел *бы* избрать, вспоминая этот день много лет спустя, будучи в преклонном возрасте и добром здравии? «Раз уж ты давний друг семьи и никогда толком не числился в этой группировке, – говорит Джордж Копсен, – и, учитывая, с какой обстоятельностью ты перечислишь имена всех людей, находящихся сейчас в здании, вспомнишь их слова, действия и даже возможные действия, мы придем к компромиссу. Но, если, *если* ты выживешь, будь добр, учись хорошо, играй по правилам, голосуй с умом и во благо родины и вели, наконец, своему приятелю извиниться перед моей любимой дочерью за тех ослов».

Я еще никогда не писал признания: вероятно, многие люди за всю жизнь не делали этого ни разу. Меня не учили их писать, никто не давал мне планов и шаблонов признания в государственной измене (точнее, в *мыслях* о ней), однако, судя по представленным образцам, такие документы пишутся в обратном порядке, начиная с хорошего и заканчивая неблагоприятной правдой. По-прежнему сидя на электрическом стуле (мне принесли доску и фломастер), я пытаюсь нацарапать как можно более убедительный черновик, постоянно напоминая себе, что это чистый воды вымысел, нагромождение лжи. При других обстоятельствах я бы сперва устроил мозговой шторм, но я нутром чую: любая задержка в усердном вспоминании фактов придется Джорджу Копсену не по нраву. Поэтому я смиренно пишу. Начиная вводную часть («К моему глубочайшему прискорбию и стыду, нескольким людям, более искушенным в вопросах подрывной деятельности, нежели я, удалось втянуть меня в осуществление своих преступных планов»), я мучаюсь единственным вопросом: кого сдать? Мысль о Квипе, повешенном на рее, греет душу, равно как и образ Игги, поставленного перед неопровержимыми фактами и обливающегося потом на этом стуле. Но они – шуты гороховые, а мне нужен козел отпущения, так что я решаю растоптать Себастьяна. Со всей возможной скрупулезностью я смешиваю его жизнь с вымыслом – точно так, как он обошелся с моей.

Грандиозность обмана придает мне сил; осторожными мазками я рисую образ экстремиста, паука, коварно схоронившегося в безупречной паутине политической софистики. Я намекаю, что Себастьян – сторонник суровых мер, но не говорю об этом прямо. Я привожу несколько его цитат, из которых следует, что ему нужны перемены любой ценой, революция ради революции. Не та взвешенная и гуманная ее разновидность, предложенная за стаканчиком водки с тоником, а бурная, конвульсивная, губительная. Я добавляю, что Себастьян не боится обрушить храм на самого себя, удобрить почву не только чужой, но и собственной кровью, дабы установить новый порядок. Я не пытаюсь дать точное определение его идеологии, только говорю, что Себастьян ставит ее превыше верности государству, превыше человеческой жизни, даже своей собственной; пусть читатель сам заполнит пробелы строчками из законодательства. Это чистой воды поклеп, возмутительнейшая клевета. Кредо Себастьяна (которое он действительно ставит превыше всего) звучит так: никакие идеи, теории и планы развития не могут быть ценнее человеческой жизни, пусть и одной-единственной. Себастьян презирает статистику, в которой так поднаторел. Его занимают исключительно истории, ведь количество жертв – только холодные цифры, настоящая же трагедия – в судьбах этих людей.

По словам Себастьяна, идеи заполонили мир. Он ненавидит сети розничных магазинов и фастфуд, предметы массового производства и модную одежду – да что угодно, что копируется по всему миру без учета местного контекста. Такие вещи лишают уникальности каждый миг и каждого человека. Они словно отпечатаны из пластика, как коробки для яиц,

и пытаются уподобить нас себе. Они – вторжение безликого совершенства в наш грязный, потный, пахучий мир.

Логично предположить, что Себастьян хочет взорвать их к чертовой матери, однако прямо я об этом не говорю. Как не удивительно, Алину я тоже неставляю сиреной или Харибдой. Из-под моей кисти выходит чистая неискушенная дева, которую необъяснимо влечет к сексу – всякий раз для нее как первый. Попутно мне приходит в голову, что так оно и есть.

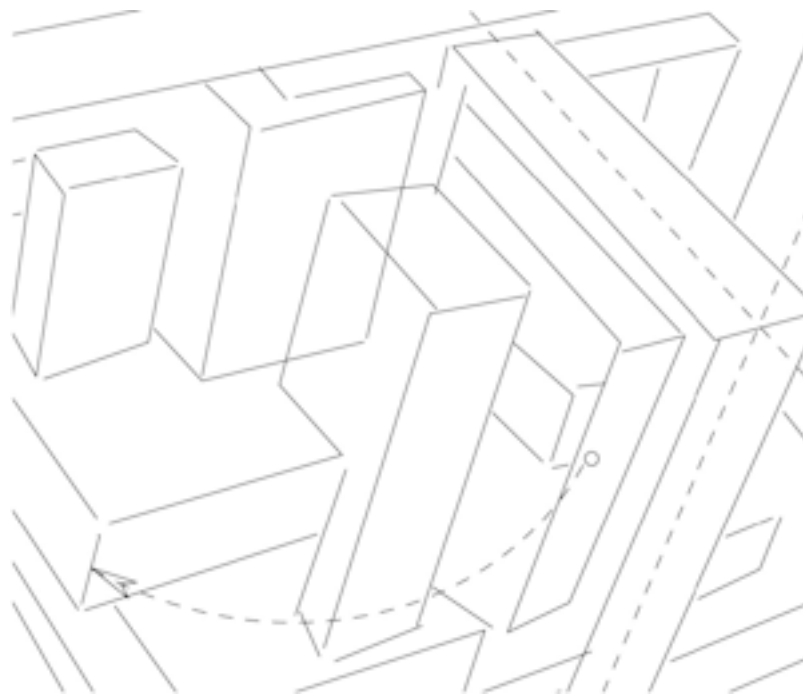
Джордж Копсен читает мой лживый опус и то ли верит ему, то ли удовлетворяется какими-то доводами, но меня отпускают домой, не убив и даже не задержав официально, хотя на выходе один крепкий не-сержант склоняется ко мне и зловеще бормочет одно слово: «Ослы».

К счастью, от этого должка я легко избавляюсь – Гонзо встречается с Лидией Копсен и выясняет, что она превратилась в дивной красоты первокурсницу чрезвычайно «пневматического» склада и с внушительным декольте. Это неизбежно приводит к осыпанию штукатурки и дрожанию картин на стенах, и я как никогда скучаю по Алине, пока Гонзо с Лидией вкушают послеобеденный кофе в соседней комнате. Генерал Копсен, разумеется, имел в виду вовсе не такие извинения, но я не намерен сдавать Гонзо, и ублаженная Лидия, по всей видимости, тоже. Мой друг нередко производит такой эффект на женщин. Джордж Лурдес Копсен удовлетворен (искренне надеюсь, что не тем же самым способом), и я продолжаю учебу в Джарндисе с более глубоким пониманием природы власти и некоторой разборчивостью в связях. Много лет спустя на одном мальчишнике я вновь вижу лицо Алины – она снимается в высокохудожественном фильме под названием «Все спереди», переложении на эротический лад «Унесенных ветром», где главный герой (сыгранный знаменитым порноактером Коитусом Клеем) путем нестандартных ласк тонко и со вкусом доводит хорошеньких девиц до неопишуемого блаженства. Несмотря на то что это порнография, «Все спереди» оставляет впечатление наивности, некой безопасности – вероятно, потому, что Коитус Клей явно питает к главной партнерше нежные чувства. Узнать его трудно, поскольку показывают актера в основном снизу, но в какой-то момент я различаю на экране точеные черты Себастьяна.

В ближайшем же будущем опыт отделения астрального тела на электрическом стуле оборачивается для меня усердной учебой и изрядной неожиданностью: после сдачи сессии я попадаю в ряды первых студентов. Гонзо добивается средних результатов, что ни капли его не смущает. Но это мой очередной первый раз: хоть в чем-то немаловажном для нашего мира я опережаю своего лучшего друга.

Глава IV

Поиск работы и трудоустройство; природа Вселенной; опять Гонзо



– Мистер... эмм... ах да, прошу прощения. Миссис... Брент!

Олеана Брент – уже третий человек в конторе «Толкастера и Ризма», который меня обскакивает. Не в прямом смысле, конечно. Миссис Брент – степенная костлявая дама и нипочем не стала бы рисковать своей портативной *froideur*³, занимаясь гимнастикой в приемной, даже если бы компания поощряла такого рода занятия. Она сидит на стуле, суровая и одинокая, пьет кофе без кофеина и читает журнал без картинок. Затем плавно поднимает голову и настороженно входит в кабинет, словно ей предстоит окунуться в ледяную воду и терпеть дразнилки сверстников.

Когда Сьюзен де Ври (пом. в-през. по персоналу в «Т. и Р.», но не в СВКДБ, АП или ООН, хотя ей очень бы хотелось) ошибочно позвала Мартина Реддла, тот любезно сообщил, что вообще-то стоит в списке после меня. Сьюзен де Ври только отмахнулась, давая понять, что моментально все устроит, Мартин скорчил виноватое лицо и вошел. Де Ври сделала такой же вихлявый жест, когда я вежливо предостерег ее от повторной ошибки с Говиндой Ланкастер. А теперь вместо меня в святая святых отправляется Олеана Брент, и уже ясно, что эту игру я проиграл. Четыре года студенческого шулерства не прошли даром: крапленую колоду я отличу с первого взгляда. Вопрос даже не в том, чтобы отгадать нужную карту, а в том, чтобы ее *не* отгадать. И действительно – вот чудеса! – мое назначенное на девять собеседование оказывается последним в списке, не вернусь ли я на следующей неделе?

Я – лучший продукт образовательного производства и прекрасно понимаю, что возвращаться нет смысла. Меня отбрили, взвесили и сочли негодным, а я даже не увидел весов. Мой следующий визит, вероятно, вызовет массовый исход персонала из задней части зда-

³ Холодность, сдержанность (*фр.*).

ния. Я начинаю мало-помалу привыкать к этому ощущению: работодатели точно сговорились меня не брать.

В «Брайтлинг, Фурдейл и Клембер» на мои ответы равнодушно кивали два скучающих менеджера, с самого начала заявившие, что уже набрали сотрудников на год, – и затем выпроводили меня, дабы побеседовать с многообещающим юношей из Листерской экономической академии. «Мелисанд-Ведетт-Фармер Инк.» не ответили на мое письмо. «Толкастер и Риэм» тоже не горят желанием разговаривать. Я ухожу, пока меня не вышвырнул за дверь охранник.

И дальше то же самое: «Семплер и Хойт» не нуждается в моих услугах, равно как и «Международный центр решения проблем и развития». В «Бернард и Фиш» мы несколько подробнее, чем я ожидал, говорим о погоде, а потом я окончательно понимаю, что провалил собеседование: мистер Ланге-Лиманн просит повторить главные особенности кучево-дождевых облаков и настораживается, когда я возвращаю его к теме трудоустройства. В ООО «Каддоган» женщине, ведущей собеседование, по крайней мере хватает вежливости объяснить, что со мной не так:

– К вашим бумагам идет засекреченное приложение, это довольно странно.

Я даже не догадывался о приложении, но менеджер объясняет, что потому оно и называется засекреченным.

– И о чем там говорится? – спрашиваю я.

Она не знает. Приложение ведь засекреченное. Может быть, я тайный агент. Или, к примеру, меня подозревают в преступной деятельности за рубежом. Или (тут я вновь оказываюсь на мокром скользком стуле) я вступал в связи с нежелательными элементами. Менеджер не дает мне рассказать об Алине: если я знаю, в чем дело, то должен иметь в виду, что эти сведения засекречены, и у нее нет ни малейшего желания их узнавать, поскольку это запрещено статьей 1, параграфом II закона «Об информации» и статьей 15, параграфом VI постановления «О разглашении сведений», а также рядом других законодательных актов, которые сами по себе секретны в соответствии со статьей 23 (параграфы X–XXI) указа, чье название также не подлежит огласке. Увы, над моей личностью висит такой внушительный вопросительный знак, что их фирма не может принять меня на работу. Остальные, как выясняется, тоже.

Гонзо недоступен, он с головой ушел в романтические отношения с какой-то девушкой, вернее девушками. Я звоню Элизабет Сомс – оказывается, она сейчас дома, в Криклвудской Лощине. Приезжаю. Объясняюсь. На лице у Элизабет то отсутствующее выражение, какое обычно сопровождается закатыванием глаз и очевидными ответами. Наконец она спрашивает, кто из моих преподавателей разбирается в жизни. Я задумываюсь: многие джарндисские профессора работали в бизнесе и юриспруденции, в науке и искусстве. Однако никто из них не производит впечатления человека практичного, приземленного, кроме одного. Я называю имя. Элизабет кивает. Меня не покидает ощущение, что все это время она ждала, пока я ее нагоню. Спрашиваю, как у нее дела. Элизабет учится на журналиста, хочет путешествовать по свету. Нужно много чего узнать. По ее лицу ясно, что сегодня она больше ничего не расскажет. Мы просто гуляем, и я даже смешу ее – правда, всего раз.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.